

Владимир
МАКАНИН

Лауреат премии «Большая книга – 2008»



Лаз

Владимир Семенович Маканин

Лаз (сборник)

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3084665
Владимир Маканин. Лаз. Сборник: Эксмо; Москва; 2009
ISBN 978-5-699-33418-6*

Аннотация

Книга мастера российской прозы, лауреата «Большой книги – 2008» Владимира Маканина состоит из четырех повестей – «Где сходилась небо с холмами», «Отдушина», «Лаз» и «Голоса».

История жизни талантливого провинциального композитора, тоскующего по гармонии народных песен и плачу ребенка (лучший миг зарождающейся музыки); рассказ о трагической любви поэтессы и женатого мужчины; кафкианская утопия о мире и, наконец, похожая на манифест исповедь писателя.

Писатель изучает философские категории «подлинность – лживость», рассказывая о судьбах наших современников. А созданные на правдивых контрастах, их портреты были и остаются фирменным знаком мастера.

Проза Маканина – чуткий барометр времени. Именно по ней мы меряем величие эпохи и ничтожность наших представлений о ней.

Содержание

Отдушина	4
1	4
2	14
3	40
4	56
5	84
Где сходилось небо с холмами	93
1	93
2	102
3	115
Конец ознакомительного фрагмента.	122

Владимир Маканин

Лаз (сборник)

Отдушина

1

Нет особенного и в том, что Алевтину любит некто Михайлов, и что зовут его Павел Васильевич, и что лет ему вот-вот сорок. Пожалуй, тяжеловесен он для амурных дел и неискушен, но, с другой стороны, принимая в расчет стабильность жизненного течения, для Михайлова сейчас самое время любить – у него жена, у него квартира, у него приличный заработок, а два сына уже заканчивают школу: один в десятом классе, другой в девятом. «Сыны у меня погодки», – любит повторять Михайлов, слыша в слове «погодки» некую значительность и опять же стабильность. Каким образом Михайлов изворачивается между семьей и любовью, неясно, и даже не верится, так как заметно – и это с первой же минуты, – что человек он во лжи несильный, из лгущих тяжело и, как правило, нескладно. «Михайлов!» – зовут его к телефону, а кругом, как всегда, истеричный визг пил, заказчики, суeta рабочих, и вот Михайлов замирает в испуге:

дети или «она»? – и спешит в свой закуток к телефону, и тут важно отметить, что внешне-то он идет спокойно, тяжело-весно, а по сути своей спешит, торопится и даже подрагивает, как подрагивают люди, лгущие неумело и нескладно, а главное, не по летам редко. Алевтина и дети – только это волнует Михайлова в миг резкого телефонного оклика, хотя в другие минуты его заботят и дела, и жена, и старушка мать, еще, в общем, живая.

Михайлов человек загруженный, занятой, что тоже кладет на любовь свою окраску – *любовь занятого человека*. Он вкалывает (его обычное словцо) на мебельной фабрике, официально называющейся «Ателье по изготовлению мебели – заказы от организаций и населения». Михайлов приходит туда минута в минуту рано утром, и уже с самого утра от его одежды разит политурой и лаком. Пить ни то, ни другое он не пьет. Он инженер. Степенность и живой вес Михайлова, а он весит чуть больше центнера, вызывают уважение, и вот заказчик, или молодой столяр, или просто работяга из цеха иногда интересуются:

– Хоккеисту Михайлову никем случайно не приходиться?

– Прихожусь, – негромко и скромно отвечает Михайлов, и, когда его (еще более уважительно и с проникновенностью в голосе) спрашивают – кем же именно? – он отвечает все так же негромко и скромно: – Мы однофамильцы. – Это, конечно, такая шутка, и успеха, конечно, она не имеет, однако Михайлов время от времени повторяет ее с постоянством

мужчины, который, может, и думал о славе и подвигах в молодости, но теперь уже нет: теперь он вполне смирился и конец свой и итог жизни в общих чертах знает. Впрочем, у него есть закуток-кабинет, где он может посидеть один на один с телефонным аппаратом веселенького желтого цвета – предшественник Михайлова, смело глядевший в лицо опасностям и житейским бурям, засиживался здесь с толстухами из ОТК, и Михайлову иной раз кажется, что стены и обои с павлинами и сам желтенький телефон смотрят на него выжидающе, хотя и не торопя, как смотрят умные, готовые к услугам подхалимы, смотрят и ждут, но, конечно же, ничего смелого от Михайлова они не дождутся. Он инженер. Он не засиживается: он выполняет, разумеется несложные, чертежи по желанию заказчика, но в основном следит, как воплощаются эти чертежи в дереве, и вот он бродит по цеху, высокий и грузный мужчина, иногда отпускающий тихие шуточки, которые не имеют успеха.

О том, что у Михайлова не было или почти не было претензий к судьбе и спроса к собственной личности, свидетельствует и его юность: кончал он строительный вуз, но, вместо того чтобы возводить какие-то там мосты на Волге или какие-то там ансамбли санаториев в Пятигорске, Михайлов вдруг оказывается здесь же, в Москве, на мебельной фабричке – и это именно *вдруг*... Некоторым мебельная фабрика казалась удручающей прозой. Другим, которые побойчее, она казалась исключительно тонким замыслом («Мос-

ковская прописка и теплое место! Да это же ход конем!»), и только самому Михайлову фабрика не казалась ничем, разве что фабрикой. Он инертен. Он из тихих. Он, пожалуй, слишком медлителен душой, как бывают медлительны телом, – такие люди не успевают уклониться ни от плохого, ни от хорошего, и, если им так говорят – мебельная фабрика, значит, так тому и быть. Михайлову предлагают, он соглашается. Ему обещают жилье в течение ближайших трех лет и обманывают; он опять же соглашается. Он живет, молчит и, в общем, верит, что у фабрики в этом году были с жильем какие-то особенные перерасходы, и что директор фабрики и без того вконец замотан, и что у него, у директора, от забот ночами болит сердце и как бы не микроинфаркт... А время идет.

Время идет; бог, как известно, оберегает нехитрые души. И вот вдруг оказывается, что мебель – это модно и ценно, и тут слово *вдруг* становится вновь нужным и, стало быть, характерным для Михайлова, в том смысле, что только это слово и может что-то в его жизни переменить. Большой город вдруг словно приходит в движение после спячки, и они, люди, со всех концов спешат теперь к Михайлову. Они хотят под старину. Они хотят под модерн. Они хотят просто под уют, они всё хотят – один, помнится, хотел стеллажи и чтоб линии там «пересекались, и разбегались, и вновь сбегались», и чтоб сверкало, и чтоб в целом напоминало аэропорт («Что-что?» – «Аэропорт, ну вы меня понимаете!»). Тесно-

та квартир диктует свои законы, подчас приходится бороться за каждый квадратный полуметр, и, пожалуй, в этой-то борьбе Михайлов себя обрел. К работе возник интерес. Ну и деньги, они тоже возникли, и однажды Михайлов замечает, что живет, и ест, и пьет он теперь куда лучше, чем раньше. И квартира у него лучше, чем раньше, и жена (нет, это удивительно!) становится лучше и красивее. Дама. Со вкусом одета. Скромна. И тут можно отметить, что сорок лет – это не двадцать, если о жене, о женщине, но двадцать – это ведь уже не для нас, и Михайлов это помнит. Михайлов и сам выглядит лучше, и дело не только в одежде. Он переживает и испытывает чувство сродни запоздалой славе, а это на время молодит и на время же способствует всяким таким зигзагам. Когда идет дождь или просто сырая погода, голос у Михайлова садится и рокошет: приятный голос. Когда они знакомятся, Алевтина – она поэтесса – спрашивает:

– Вы известному басу Михайлову никем случайно не приходиться?

– Прихожусь, – негромко и скромно отвечает Михайлов, и, когда Алевтина (уже с некоторым уважением в голосе) спрашивает – кем же именно? – он опять же негромко и скромно поясняет: – Мы однофамильцы, – и *вдруг* в первый раз – и, забегая вперед, можно сказать, в последний – его шутка имеет успех, впрочем, малый и относительный, так как поэтессы к юмору не склонны, скорее снисходительны.



Алевтине Нестеровой не двадцать, а тридцать, даже тридцать один год; впрочем, она моложава, с большой грудью и более или менее милым лицом – она молодая поэтесса, и если о хлебе, то хлеб это нелегкий и не самый белый. За десять примерно лет у нее вышли три тоненькие книжицы стихов, и теперь, ожидая четвертую, она рецензирует или же подрабатывает, выступая со своей лирикой в заводских и районных Домах культуры и в студенческих аудиториях на всякого рода торжествах. Ее миловидность тут кстати и к месту, хотя бывают издержки: однажды, например, на Новый год ей предложили в каком-то клубе заодно со стихами, а точнее, после чтения стихов нарядиться Снегурочкой, так как та легла в эти дни на аборт, а заменить ее было некем; в таких случаях звонят срочно в бюро, где Снегурочек не так чтоб очень много, но имеются, однако в тот вечер и телефон почему-то отключили. «Снегурочкой?» – «Ну да... Я вас очень прошу, девушка, вы почитаете стихи, поскачете заодно возле елки. Это ж нетрудно!» И Алевтине сказали, что заплатят за хоровод особо, и этим, конечно, обидели. Алевтина позже разобралась, что тут не обида в замысле, а случайное и даже водевильное стечение обстоятельств и что надо бы на это смотреть с юмором; к этому она и пришла, что поэтессе к юмору надо быть склонной. Однако и в праздники, и еще

неделю спустя душа ныла, и Алевтине хотелось какого-нибудь отвлекающего события – например, пойти в гости – или вдруг виделась накатанная лыжня, снег и гогочущие лыжники в свитерах. Алевтина даже заспешила приткнуться в этукую гогочущую бездумность, названивая по телефону тем и этим, потому что под Новый год – свойство зимнего праздника – одиночество может совершенно внезапно высунуть серенькое свое личико, и Алевтина это хорошо знает. Мужа у нее нет. Детей нет. Есть квартира.

Муж у нее был, он был тоже поэт, но поэт-неудачник – он как-то не сумел выпустить трех тоненьких книжиц стихов, он не сумел выпустить даже одну; он часто плакал и жаловался, а потом стал считать, что выпуску книжиц мешает движение в небе некой планеты, населенной инопланетянами и нами пока не знаемой. Алевтина считала, что причина в другом: вместо того чтобы брать трудом, где не взял талантом, он пристрастился к дешевому портвейну – плюс к тому он был смазливенький, и это его окончательно определило. Он исчезал на год-полтора, где-то там жил и пил и являлся в дом лишь тогда, когда доползали верные слухи о том, что у Алевтины выходит или только что вышла очередная тоненькая книжица, – он являлся к деньгам. Он рассказывал Алевтине, что любит ее, и что одумался, и что устал, и что начинает новую жизнь, но, едва кончались деньги, кончался и он как муж. Он проваливался в щель меж этими деньгами и теми. А можно сказать, что он проваливался в щель

меж этой тоненькой книжицей и следующей, и это уже в самом деле напоминало космическую щель, или, как говорят теперь, космическую дыру, в которую то появляются, изучая нас, то исчезают инопланетные существа далеких цивилизаций. Характерно, что он даже не затевал ссоры, и это тоже походило на инопланетян, – он просто исчезал. Ни слуху ни духу. И лишь одна-единственная открытка под Новый год, тот самый, когда Алевтина едва не примерила кокошник Снегурочки. Открытка была почему-то из Ялты. «Алиночка. Жизнь прожить не поле перейти. Желая хорошего праздника». Детей у них не было. Они развелись, и теперь Алевтина Нестерова, поэтесса и привлекательная женщина, живет одна, живет собственной жизнью и в собственной квартире, и надо ли говорить, что она счастлива и что ее старуха мать, в одной из курских деревень подающая по темноте своей каждый раз у алтаря батюшке записочку, глубоко не права.

Гордость зачастую является своеобразной и даже необходимой компенсацией; тут-то особенно кстати и милое лицо, и большая грудь, однако более всего – и это важно – Алевтина горда тем, что зарабатывает на жизнь сама и ни от кого не зависит: тот случай, мой милый, когда баба, притом одинокая, а вот ведь живет и не плачется встречным. Достоинство, как и положено всякому достоинству, имеет свою тень: та же внутренняя гордость, по-человечески симпатичная, делает иногда Алевтину вдруг манерной и бесцеремонной. Она как бы в роли.

– Хочешь хороших стихов? – спрашивает она, а в общем и не спрашивает, потому что с ходу начинает читать.

Голос, к счастью, у нее теплый, с той самой хрипотцой, читает она прекрасно. Она разделяет стих от стиха небольшой, и легкой, и домашней, что ли, паузой, ни названия не сообщая, ни автора, – и это трогает. В этом вновь всплывает свой плюс и такт, потому что тебя отнюдь не втягивают в беседу эрудитов, не спрашивают, хочешь ли «из последнего сборника Анны Андреевны» (а ты и не знал, что сборник вышел), – тебя не теребят, в тебе не сомневаются, ты просто слушатель – ручей просто и покойно льется в шаг от тебя, хочешь – пей, а не хочешь, как хочешь.

Если опять же о внешнем, гравюры повешены наспех там и сям или же просто стоят, прислоненные к стене, – не пни ногой, милый, – а прикнопленные черно-белые фотографии поэтесс давнего и недавнего прошлого нашептывают и являются уроком того, что любовь границ не знает или, во всяком случае, знать не хочет. «Отобью себе стоящего мужика, – любит повторять Алевтина под грохот, например, стиральной машины, если подруга пришла и, скажем, помогает ей, направляя в раковину шланг и струю с бьющей мутной водой, – отобью стоящего мужика и, глядишь, замуж выйду», – однако слова тут больше для слов, для публики и опять же для роли и игры... Именно из-за манерности и устоявшейся роли, из-за длящейся до поры внутренней неясности Алевтина Нестерова многим кажется странной; инженеру Михайлову,

пропахшему политурой и день за днем живущему жизнью мебельного цеха, гордая Алевтина поначалу кажется попросту чокнутой. Он, в свой черед, кажется ей молчуном и дебилом, и это, конечно, ничуть не мешает их сближению: это взаимно любопытно для них и похоже на постепенное узнавание, на снятие шелухи и на постепенное появление белого тела луковицы.

2

То, что он «мебельщик», поэтессу как раз не отпугивает: у нее вообще есть тяга к простоте, и ей нравится, если человек знает некое свое дело и в этом своем деле неслучаен и ценим. С охотой, а иногда и без – то есть с усилиями – она старается, чтобы Михайлову было у нее приятно. Есть и понимание своих усилий: она старается быть «просто доброй бабой», и чтобы он отдыхал здесь от суеты и тщеты, и чтобы не мучился своей, скажем, судьбой, или женой, или чем там еще мучаются мужчины, не понимающие простой истины, что выше головы не прыгнешь и что в конце концов игра с жизнью, как и игра с женщиной, идет не на обман и не на итог, – мужчины этого знать не желают, но пусть хотя бы, бедняги, почувствуют. Она старается, чтобы Михайлов был ее другом, и тут не нужно делать это слово чуть хуже, чем оно есть: иногда – например, в тряском автобусе, когда в тряский автобус вдруг ворвется закат, а на заднем сиденье зачуханная старушонка с кошелками и с закрытыми и почерневшими глазами предстанет в розовых лучах, как ангелок или как воплощение покойной старости, – иногда Алевтина думает, что она его любит.

Но в другой раз он слишком тяжел: Алевтина, скажем, думает о тихом вечере, о том, какая у Михайлова славная морда, и о своей любви, налетевшей вдруг в тряском автобусе;

мысль, уже истончаясь, разрешается в длительное настроение, в нежность ко всем и всему, и вот тут-то Михайлов вразрез начинает говорить (ворчать), что Алевтина Алевтиной, а семья семьей. Алевтина фыркает: не то обижает, что семья у него на самом первом месте (да бог с ним, с местом!), а именно эти подчеркивания, зачем они. Оберегая настроение, Алевтина говорит – смотри, какой снег за окном, – а он словно не слышит (иногда он туповат) и вновь талдычит свое:

– Любовь бывает часто, а семья редко.

– Вот заладил... Семья, я слышала, тоже бывает не один раз, – пробует шутить Алевтина.

– Это у кого как.

Михайлов произносит тупо и тяжело, даже как-то зловеще и час еще после нажимных этих слов способен сидеть букой. Бедняга страдает: с тех пор, как у Алевтины объявился новый знакомец – блистательный, и красивый, и несколько скупающий математик Юрий Стрепетов, – Михайлов стал как-то особенно угрюмо поговаривать о своей семье, вроде как грозился или демонстрировал Алевтине, что у него, мол, в жизни как-никак есть главное и вроде как он больше к Алевтине ходить не будет и совсем исчезнет. Однако он не исчезает. Старая песня: мужик способен, пожалуй, потерять или даже выбросить, но никак не отдать другому. А Стрепетов тоже не исчезает. А Стрепетов и красив, и умен, и, в общем, он нравится Алевтине, что там скрывать. И однажды Алев-

тина уже понимает, что определился треугольник и что тяга и взаимная напряженность от угла к углу проглядываются чуть ли не по забытым классическим образцам – о Господи, почто искушаешь? – и вот, понервничав вечер-другой, Алевтина чувствует, что пора ей развести в стороны этих милых идиотов: пора ей тянуть, и вытягивать, и вправлять личную жизнь в какое-то русло. И именно ей, так как от мужиков не дождешься, мужики в наш век ничего не могут.

«Надо решать», – говорит она себе. И отчасти ей нравится, конечно, что надо решать, не без того.

И вот колебания: если рассуждать вообще и отстраненно, то, конечно же, ей ближе Стрепетов, он и физически приятнее ей, и в стихах разбирается куда тоньше – математики те же поэты, – однако старый друг ценнее двух, и Алевтина повторяет себе эту вековую мудрость все чаще. Ей жаль Михайлова. Михайлов добр и чуток и немало для нее сделал, в частности кое-что из мебели, и дать ему отставку только потому, что на горизонте появился красавчик, жестоко. Красавчики появляются и исчезают, так уж они задуманы, а старый друг – это старый друг, и уж кто-кто, а женщины это ценить умеют... Но, с другой стороны, если Алевтина пересилит, скажем, голос и зов сердца и, стало быть, Стрепетов исчезнет, а Михайлов останется, благодарности от него все равно не жди; однажды – и это легко себе можно представить – Алевтина пожалеет и горько вздохнет: исчез, мол, Юрочка...

– Все исчезнем, – угрюмо и мрачно проворчит в ответ Михайлов, он даже оценить благородство Алевтины окажется не очень-то способен: медведь – он ведь и за медом медведь.

А это уже колебания Михайлова: мебельный цех опустел, конец дня, но Михайлов все еще не знает, ехать ли сегодня вечером домой или же к Алевтине. Он что-то складывает, что-то запирает в ящик и слышит наконец внутренний голос: домой... а мысль об Алевтине делается мыслью маленькой и незначительной, и если даже желанной, то с оттенком некоторой собственной прочности.

– Ухожу, – говорит он приемщице.

– До свиданья, Павел Васильевич.

– До свиданья. – Михайлов идет улицей и, довольный, убеждает себя в правильности принятого решения. Однако, окончательно себя убедив, он вдруг понимает и постигает неожиданное: он вовсе не идет улицей, он едет к Алевтине. Он даже не уловил момент и миг, когда же он решился к ней, да и решался ли, – он только обнаруживает, что он в метро и что сидит он в голове вагона, покачивается в такт ходу поезда и, вот так покачиваясь, едет к ней... Он спохватывается, вспоминает, что с утра температурила жена, больна вроде бы, – и на весах эта гирька, малая в общем, однако упавшая неожиданно, оказывается вдруг весомой, – Михайлов, чертыхаясь в адрес собственного безволия, тряпка и есть тряпка, выскакивает из вагона и трусцой, прижимая к боку раздутый портфель, перебегает на противоположную

сторону платформы – к обратному поезду.

И вот он дома.

– Ну как? – спрашивает он, кося глаза в сторону. Он запыхался.

– Ничего, – отвечает больная жена, и это «ничего» при-
давливает Михайлова: некоторые переносят чувство раздво-
енности легко или, может быть, попросту ловко. Живут себе
и живут – и молодцы, а вот о его великих страданиях уже,
кажется, все догадываются. Рабочие, к примеру, отвозили
Алевтине столик и тахту с фабрики (он шел при погрузке
с другой стороны машины и слышал их треп собственными
ушами): «У Михайлова в Химках баба есть – сосет из него
соки». – «Аппетитная?» – «Ничего себе. Я бы не отказался».
И этот парнишка, сопляк, отпустил такое с забора, что Ми-
хайлов уже хотел было рывкнуть и дать нагоняй, и плевать,
что пойдут разговоры.

А жена готовит ужин, руки у нее немеют, но она добросо-
вестно и не без скрытого упрека делает свое повседневное
женское дело. Больная жена – это совсем новый человек, ти-
хий и слезливый. И мнительная: ей кажется, что она умрет.
Склонившись к плите и скребя ножом в сковородке, она пла-
чет:

– Павел, у меня ведь ничего в жизни нет – только наши
мальчишки... – А час спустя температура подскакивает до со-
рока. Жена ложится в постель и опять мнительно плачет, и
слова ее опять впопад: – Павел... Прошу тебя – не женись

больше.

Лицо у нее пылающее, красное.

– Если умру, береги мальчиков... – Жена лежит лицом к белому потолку; как все больные, она не целит словами в конкретность, она сейчас отделена и отчуждена и ушла в свои долины. Михайлов несильно сжимает ей руку. Он понимает, что жена не умрет, но испуг уже коснулся его и задел – оттиск какого-то страха, затаенного и угнездившегося в каждом человеке с детства.

И вот тут она звонит. Из другой комнаты (прикрыв плотнее дверь) приглушенным голосом Михайлов объясняет, что приехать сейчас не может – больна жена.

– Да, да, – шепчет Алевтина, с сочувствием шепчет, – когда мне тебя не хватает, когда ты мне нужен, у тебя больна жена...

И, вздохнув, кладет трубку.

Михайлов выкуривает сигарету на кухне, потом тяжело топает к детям. Они отрываются от уроков, выходят из комнаты и стоят, стройные и тоненькие сыны. Лица их с оттиском того самого страха: мать больна. Они стоят, подняв лица к отцу, как бы вынув и выложив свои детские души, – ждут.

– Ребятки... – он откашливается. – Бросьте на время уроки.

Они молчат. Уже девятый час вечера.

– Бросьте на время уроки и идите к маме. Я должен уехать. Он не объясняет. Они привыкли понимать его, и верить

ему, и слушаться с полуслова. До запанибратства и смешочков еще не доросли. Молчат. Кивают: да... да... Сначала младший кивнул и шагнул в комнату матери. Затем старший.

– Я только закончу задачу, папа. Мне две строки.

– Закончи.

Ну и конечно, Алевтины дома нет.

А он отпустил таксиста. И теперь, запыхавшись, Михайлов то поднимается к ней на этаж и сильно, нервно жмет кнопку звонка – не спит ли? – то вновь спускается вниз и всматривается с улицы в темные ее окна, окна он знает. Алевтина не спит. Ее просто нет. Михайлов понимает это, однако не может избежать острого, хотя и короткого, приступа ревности – ему неловко, ему совестно, но, большой и солидный и рыхлый мужчина, он прикивает лицом к замочной скважине, а потом, воровато оглянувшись, становится удобства ради на колени, стоит на грязном полу лестничной клетки, прижимается ухом к замочной скважине и вбирает в себя ту задверную пустоту, ожидая хоть какого-нибудь оттуда звука или скрипа.

Он ловит такси, он пыхтит на каждом шагу, бежит поперек улицы, а потом назад суетливым и жалким бегом сорокалетнего толстого человека, которому по внешнему виду всегда дают пятьдесят, – он спешит, он мог бы обойтись без такси, но он хочет курить в машине (совсем недавно сознанное и найденное жизненное удовольствие) – курить и, будто бы всматриваясь в окна летящей машины, всматривать-

ся в некую томительную и сладкую пустоту внутри себя, – и вот он едет и курит, а едет он в дешевенькое кафе-столовую, что возле одного издательства. Он приехал (он выкурил даже две) – он бродит меж столиков и подвыпивших людей, выглядывая и выискивая глазами знакомую темненькую головку с коротко остриженными волосами: нервную и как бы пугливую женскую головку. Но Алевтины нет. Он едет в Дом литераторов, это недалеко (два места, где она чаще всего бывает: «Должна же я общаться. Должна же я делать дела!»). Но там не пускают. У дверей стоит исполненный внутреннего достоинства администратор, и Михайлову приходится выждать, пока тот с остервенелым криком куда-то умчится, и только теперь – вымученно, жалко, с постыдным хихиканьем совать рубливку сменившей администратора тетеньке с усами. Алевтины нет...

Есть еще знакомый ее баскетболист, у которого они были недавно (единственный случай, когда Михайлов и Алевтина пошли на люди – Михайлов вообще не любит никуда ходить, он любит сидеть у Алевтины в ее милой квартирке в Химках, сидеть долго, тихо и безвылазно), и вот он тащится теперь к баскетболисту, и это уже как отчаяние и как последняя попытка, лишь бы поставить точку, однако Алевтина действительно там. Накурено. Дым пластами – и темненькая головка резко и энергично поворачивается и с кем-то спорит в сизом и красном (от настольной лампы) дыму. Компания теплая и небольшая, баскетболист с женой и другие, а в общем,

тридцатилетние и даже моложе, худые, рослые, сомкнутые своим застольем и своей молодостью. Балагурят. Посматривают на притащившегося сюда Михайлова (а он входит с виноватой улыбкой незваного), как всегда посматривают в таких случаях на потертого жизнью пятидесятилетнего хмыря, уже с животиком, уже со взрослыми детьми, которому «все же хочется» и который все же притащился, и сидит теперь, и поддакивает, и сносит насмешки, и все это даже не ради бабы, а ради того, чтобы именно посидеть и погреться возле их молодости, чтобы похихикать над анекдотами и, может быть, только под самый занавес попробовать что-то такое себе урвать... У них как раз кончилось спиртное. Кого-то гонят в дежурный магазин. «Погодите, погодите, – спешно и с народившейся детской улыбкой всовывается Михайлов. – С меня как-никак причитается... Пожалуйста...» Он теребит в руках бумажник, не зная сколько, и не умея дать, и чувствуя на себе взгляды.

– Да, да, он богатый! Бери больше! – кричит Алевтина, выявляя для народа хоть некое его достоинство.

Какой-то щенок ловко выхватывает у него десятку (выхватывает, некоторое время легко вертит бумажку в руках – не будет ли сверж? – и берет еще) и летит в дежурный. Все смеются. У всех возникает одинаковость ощущения, что вечер продолжается и что конец вечера вновь отдален и отодвинут на неопределенный срок с той минуты, как хлопнула дверь и Витька запрограммированно и нацеленно погрузил-

ся в московские сумерки и суету, а смятый из ловко выхваченных двух бумажек красный комок уже превратился в пламя и жжет Витьке ладонь и гонит его вперед. Витька сумеет... Улучив минуту, Михайлов шепчет Алевтине («Не поедem ли к тебе?»), она качает коротко остриженной головкой – нет, не поедem («Здесь совсем неплохо, давай посидим здесь»). Но шум и застолье Михайлову не по нутру. Им хочется потанцевать и попрыгать – это понятно, а ему хочется быть у нее, у Алевтины, и это тоже понятно. Уяснив, что она собирается сидеть здесь допоздна, он встает и потихоньку, безоглядно уходит, не прощаясь и понимая, что его не хватятся ни сейчас, ни когда придет Витька и что в лучшем случае кто-то спросит у Али: «А где твой тип, а где этот недобравший в молодости – ушел к своей старой, но верной жене?»

Он возвращается домой смирившийся, но с осадком – вечер, настроенный на Алевтину, потерян: а у него их и есть вечер-два в месяц. Завтра после работы ехать к заказчикам и послезавтра ехать, и, значит, к Алевтине не успеть. А там суббота и воскресенье, жена больна, и, стало быть, хотя бы несколько вечеров кряду надо выложить и отдать семье. Такая жизнь... Он уже дома. Намаявшийся и прихваченный на лестнице одышкой, слыша, как стискивается от виноватости сердце, он садится возле жены. Она без перемен, как лежала, так и лежит... Стараясь не дыхнуть на нее случайной рюмкой водки, Михайлов целует ее в лоб и шепотом говорит:

– Я здесь... вернулся. Видишь, я сделал все дела и уже вер-

нулся.

Дети укладываются спать. Старший лег. Младший в одних трусах (какой худой) стоит в дверях и, зевая (долго ждал), смотрит, как отец сидит подле матери.

* * *

Но даже если день из удачных и он застаёт Алевтину дома, *вечер* возникает у них не сразу и не из ничего. Поначалу Алевтину бесит его молчание или его правильные и тупо положительные рассуждения.

– Михайлов, хороший ты мужик, но какой-то скучный.

Он молчит.

– Скучный ты. – Алевтина сказала с вызовом и ждет ответа.

– Я не скучный. Я старый.

– Наплевать мне на причину, из-за чего ты скучный – я знаю все это наизусть: ты стар, ты глуховат, у тебя семья, у тебя одышка, ты загнанная мебельная кляча... Кстати, вчера Дужкин (художник) вдрызг раскритиковал твою мебель...

Речь о мебели, которую Михайлов сделал для Алевтины.

– ...Сказал, что ты в своем роде гений: гений воинствующего, но *осторожного* мещанства.

– Это моя работа.

– Ну-ну. Не обижайся.

Он не обижается: самолюбивы те, у кого есть свободное

время; у Михайлова свободного времени нет. По-вечернему зевнув, он с прохладцей выслушивает, как все эти Дужкины и Коноплевы, мнением которых она дорожит, хаот его изделия.

Но постепенно вечер свое берет – разговор мужчины и женщины делается мягче и ближе и как бы сумеречнее: общение... Иногда, правда, свое берет постель – Алевтина говорит: «Ну ладно. Я сегодня настроена по-боевому», – и, улыбаясь, бросается к нему и виснет, а Михайлов несколько теряется; смысл-то ясен, однако преодоление пространства от кресла к постели каждый раз кажется ему задачей – дело в том, что он боится грубоватых своих движений. Как правило, они долго разговаривают, как бы раскачиваются: двое взрослых людей. Алевтина варит кофе. Она рассказывает о детстве или о матери, продолжающей доить коров в курской деревне. Есть тема из любимых – о том, как в школе ее долго считали некрасивой. Или вдруг она спрашивает, не хочет ли Михайлов послушать стихи, иногда это *свежие*. «Ты не понимаешь, Михайлов, как важен даже самому маленькому поэту слушатель. Маленькому – слушатель даже нужнее». – «Почему же я не понимаю?» – по-доброму улыбается Михайлов. «Понимаешь или не понимаешь, а слушать тебе сегодня придется», – смеется она. И читает:

Люблю! И больше нет потерь.

Люблю! И все на свете в силах,

Скажи, мой друг, скажи, мой милый... —

в стихах она всегда кого-то любит, и Михайлов уже, слава богу, вырос до знания, что этот ее любимый – не Михайлов, и не другой, и не третий, это некто и это вообще как бы неживой человек. Иногда у него тонкие руки. Иногда голубые глаза. Иногда он, по-видимому, здорово смугл («Ты цыган мой, моя кудряшечка»), но главное, конечно же, тут напев:

Ты был печален, я лукава,
А осень радовала нас...

В такой вот вечер, а точнее, в самом только разбеге такого вечера и появляется блондинистый, с точеным красивым лицом Юрий Стрепетов – появляется Стрепетов, вообще говоря, еще с одним знакомым, но при всей новизне их обоих он появляется уже как бы из них двоих отмеченным и своим, – Стрепетов сидит весь вечер до упора, говорит он умно и нервно. Бледен. Истощен. Красив. «Что за падший ангел слетел к нам?» – осторожно и негромко и с некоторой боязнью спрашивает Михайлов. Михайлов вышел к ней на кухню, где Алевтина варит кофе на всю компанию. Она не рассердилась. Она смеется. Она даже хвалит его:

– А ты наблюдателен, Михайлов. Каким тонким репликам ты у меня в доме научился – чувствуешь?

– Стараюсь.

– И немножко ревнуешь?

– Ну что ты...

И как раз на кухню входит Стрепетов (скучает – смотреть развешанные гравюры ему надоело) – он улыбается. И говорит:

– Уединились?

И начинает с улыбочивым лицом ходить по кухоньке (небольшой, 4x2) из угла в угол, этой вот вышагиваемой диагональю отрезая Михайлова и Алевтину друг от друга. Они в разных углах. Они переглядываются. А Стрепетов говорит:

– Кофе вкусно пахнет. Люблю подышать. И свежим сеном люблю подышать. – И продолжает ходить, не поднимая головы и не глядя на них.

Выглядит это довольно нелепо на тесной и маленькой кухне: такая вот самоуглубленность. «Пижон, – спокойно и с холодком оценивает его Михайлов. И тут же оценивает еще: – Но красив, зараза». И хотя Алевтина – глазами – с ним, с Михайловым, а не с пришельцем, Михайлов чувствует, что в эти минуты возникает нечто новое и новизну эту ему, Михайлову, увы, не обойти и разве что приспособиться.

А возникает вот что. Возникает более-менее постоянное сидение втроем – прочие гости редки и, в общем, не отмечены глазом хозяйки, придут и уйдут, – а эти сидят: Михайлов и Стрепетов или, может, Стрепетов и Михайлов, кто кого высидит, точнее, кто кого пересидит, и всего тягостнее Михайлову, что высиживание или пересиживание попадает

на его настроенные вечера, и неслучайность этого налицо. Он ей звонит, он договаривается и передоговаривается (иногда с умыслом), он откладывает поездки к заказчикам, лжет дома, наконец приезжает – и тут же, как по часам, приезжает Стрепетов. А иногда Стрепетов уже сидит здесь и как бы ждет заранее. Они сидят втроем, пьют вино – чаще кофе, – рассеянно полистывают сборнички стихов и безлико тянут разговор. Игра в третьего лишнего проста, но требует известной осторожности. А потому Алевтина меняет стиль. Она навязывает и чуть ли не принуждает их выслушивать магнитофонные записи каких-то знаменитых концертов, ей хоть бы что, и Стрепетову хоть бы что – сидят, слушают, – а Михайлов не любит ни фортепьяно, ни клавесин, в особенности клавесин. Он не пытается лукавить или скрывать свою нелюбовь, чего нет, того нет. А его словно берут измором. Он чувствует, как необратимо тупеет его мозг при этих однообразных, хотя и мелодичных, звуках. От досады и потягивания в скулах у Михайлова невыносимо искажается лицо, и в зеркале – если зеркало напротив – он видит, что лицо теряет человеческий облик. Уходят они вместе. Идут до метро, оба заторможенные, оба с портфелями. Как после дежурства. Или, если Стрепетов на моторе, он далее подвозит Михайлова столько, сколько позволяет путь, а путь обычно позволяет ему подвезти до Белорусского. Иногда Михайлов все же бывает у нее один, и из этих нескольких «иногда» – иногда остается у Алевтины до утра. Но у него нет ни ма-

лейшей уверенности, что такое же не выпадает Стрепетову. Игра, если это игра, тянется. Алевтина прихотлива, капризна, своевольна в лучшем смысле этих слов, а он есть у этих слов, лучший смысл, а именно – оттенок самостоятельности в жизни: «Хочу и люблю, мое дело».

– ...Не приставай, Михайлов, хватит расспросов, ты что-то стал говорлив – ревнуй молча.

– Хочется все же знать.

– Зачем?

– Так... Знать всегда лучше, чем не знать.

– Не уверена в этом. А чем ты со мной рассчитаешься за это знание – а? – представь, если взамен я попрошу и тебя вывернуться наизнанку. Представь, если я в твою душу запущу руки по локоть?

В другой раз она говорит со слезами на глазах и с неподдельной болью. Плачет:

– Оставь меня в покое – слышишь, оставь... Если баба, так сразу ее ногами топтать – да?

Глаза ее просыхают; потом она плачет вновь, и вторые слезы делают ее некрасивой и совсем жалкой:

– Оставь в покое... Не хочу я свою жизнь держать у тебя на виду... не хочу... не хочу!

И однажды Михайлов совсем перестает ее спрашивать; он только весь внутренне ссыхается и тускнеет, как ссыхается и тускнеет внешне от бесконечных магнитофонных записей клавесина – одно к одному. И теперь он куда тише и

куда смиреннее сидит напротив Стрепетова – оба сидят, оба сохраняют спокойствие интеллигентных, и неназойливых, и вполне умеренных самцов, для которых слова женщины закон, а слова ее к концу вечера обычно такие:

– Ну, мальчики, всё. Пора закрывать на ночь глазки.

И сорокалетние мальчики встают. Одеваются, если это не летом, и мирно, не толкаясь, забирают свои портфели. Алевтина – в прихожей – целует обоих в щеку, откровенно и с удовольствием, и щедро прижимаясь на прощание высокой и пышной грудью, грудь так и ходит под свитером, когда она скидывает руки для прощального объятия. Она искренне желает им «спокойной сегодня ночи». Она искренне улыбается. Она лукаво и ласково говорит им на дорожку еще два слова:

– Смотрите не подеритесь.

И, конечно, в Михайлове нарастает неприязнь к математике: и машина своя, и красив пес, и времени свободного хоть засыпья, и, конечно же, баб хватает, – а он, Михайлов, для которого Алевтина редкость, подарок свалившийся, ходит теперь к ней, как в самое ненадежное место, откуда могут выбить одним щелчком, если не сегодня, то завтра, – могут, конечно, и не выбить, могут даже приласкать, но... Домой Михайлов возвращается неудовлетворенный и ничего наперед не знающий. Молчит. «Что с тобой?» – спрашивает жена, а уже поздний час, и дети спят, и зевающая жена смотрит по телевизору документальный фильм о красотах Сибири. Зе-

вая, она сообщает – звонил заказчик из Орехова-Борисова.
– Что? – уточняет Михайлов.
– Просит сделать кухонные шкафы.
Михайлов думает – да, надо бы сделать, давно просит.
– Они хотят в финском стиле.
– Мало ли чего хотят, – Михайлов не потекает хозяйским вкусом, он навязывает свой. И чем меньше он им потекает, тем больше они его превозносят и тем ошутимее приплачивают, люди как люди... Жена (не отрываясь от телевизора) вновь о заказчиках. Михайлов не отвечает. Михайлов весь *там*, с ней. И даже не с ней, не с Алевтиной, – он сейчас сам по себе, и отдален, и в той высокой степени одиночества, которую только и может дать любимая женщина, когда ее нет рядом.

* * *

Мысль об университете для сынов приходит к Михайлову случайно – как раз в тот день, когда они с Алевтиной едут в Загорск (она обожает осматривать церкви) и когда бродят там по улицам и улочкам. Они присутствуют на вечерней службе, поют там и впрямь неплохо, во всяком случае, это не так мучительно, как клавесин; они ходят, смотрят, слушают, а в Михайлове крепнет и крепнет случайная мысль. К ночи они уже валяются с ног и пытаются заночевать здесь же, в Загорске, напросившись в какую-то убогую и жуткую

гостиницу. Стены серые. Номер тусклый. Еда плохонькая, и единственная радость – горячий и вкусный чай. Алевтина уже сильно не в духе: был бы математик, он бы отвез их на машине домой – надо было, конечно, поехать втроем, – в тридцать лет хорошо спать дома, какая, к черту, романтика... К тому же мокрый снег. Снег идет вполовину с дождем и бьет по подоконнику дряблым кашеобразным стуком.

– Чего бы я не хотела в старости, – мрачно сообщает Алевтина, – так это помереть в такой вот гостинице.

И еще ворчит:

– Ну и дыра.

И еще:

– До чего же скучные стены.

Стены и впрямь обшарпаны. Обои висят клочками. Постель чистая, но от кровати веет убожеством, одинокими стариками и нищетой, а чистота белья только подчеркивает убожество. Михайлов же ничего не замечает или почти не замечает. Он весь в своей мысли, он наполнен ею по самые края – он видит обоих своих сынов в яркий день (какое солнце!), они поднимаются по ступенькам к высокому, со шпилем зданию университета – у младшего под мышкой зажаты тетради, они приостановились; нет, они встретились на этих ступеньках в перерыв занятий, и старший втолковывает («...У меня лекция кончается в два. Пообедаем вместе?» – «Идет». – «Смотри не опаздывай!» – и оба смеются), – не в силах противиться счастливой картинке, Михайлов неожиданно говорит, у

него словно вырывается вздох:

– Хорошо!.. – Он спохватывается, он видит тусклый гостиничный номер и Алевтину, которая раздевается и с гримасой брезгливости кладет юбку на стул. Михайлов прячет и маскирует вырвавшееся восторженное слово. Он говорит:

– А мне здесь ничего... Мне нравится...

Алевтина фыркает:

– Знаешь, Михайлов, а ведь ты счастливый человек.

– Что? – Он не чувствует иронии.

– Счастливый – тебе что ни положи в рот, все мед.

Она прикидывает, не раздеться ли полностью, любит спать голенькая, – она колеблется, борется с искушением, еще раз приглядываясь к белизне простынь, – и все же ложится в постель в комбинации. Михайлов тоже ложится. Стены гостиницы вновь и очень легко вытеснены в его сознании сверкающими ступеньками к университету – бок о бок стоят там его сыны, разговаривают, а сверху косо и сильно легли желтые солнечные лучи. Михайлов думает, что после этой картинки ему уже больше ничего не надо – семья есть, дети на ногах, и, в сущности, Михайлов прожил и отстучал свою жизнь (у него даже любовь была на вечер глядя, чего же еще).

* * *

И наконец, колебания Стрепетова: он тщеславен, горд, за-

носчив и, конечно же, с таким вот букетом внутри, болезненно от всякой мелочи страдает... Тот удивительный факт, что Алевтина не предпочитает его сразу (а нужно сразу, именно сразу!) какому-то вонючему (пропахшему лаком) Михайлову, конечно же, задевает больно, и понять или постичь раздвоенность Алевтины математик Стрепетов никак не может: какой тут выбор? О чем тут речь, дорогая?.. Михайлов для него туповатый и медлительный «мебельщик», деляга, начальничек с пузом; пожалуй, он даже с душой и даже с глубиной души, но это же так, это уже от природы, от оврагов, от деда-крестьянина, а не от собственной глубины. И, конечно же, прежде всего Михайлов раздражает его своей манерой устало по-хозяйски садиться, выкладывать локти на стол, как будто все вокруг пили чай, он же от зари до зари пахал, а теперь, стало быть, подайте ему щи со свиной. Дуб.

Они сидят на стульях, разделенные столом. Стрепетов прихлебывает кофе из хорошо знакомой ему чашки с красным аистом на боку и видит перед собой Михайлова, который тоже пьет кофе (и эту чашку с голубым аистом Стрепетов знает отлично – подчас из нее пил он, а из этой, что в его руках, медленно цедил «мебельщик»). Стрепетов остроумен, находчив, он постоянно держит в разговоре верх, вызывая и высекая от раза к разу звонкий смех Алевтины и отчасти признающую чужой юмор улыбку Михайлова; однако победу эти победоносные разговоры не дают. И для Стрепетова не секрет и не загадка, остается или не остается иногда

на ночь у Алевтины этот пузатый Михайлов, – остается.

– Ты стал часто задерживаться, – спокойно и холодно выговаривает Стрепетову дома жена: жена у Стрепетова третья и, надо думать, последняя. – Стал часто задерживаться...

– Но я аккуратно прихожу обедать.

Она смеется глазами, ее не проведешь. Она смотрит на Стрепетова, как смотрит опытный санаторный врач на слабовольного и избалованного своей болезнью курортника.

– Вечерами задерживаешься, родной мой.

Он слабо брыкается:

– Но в постель-то я ложусь в назначенный час.

– Только потому, что у тебя с утра лекции. И только потому, что у тебя такая жена, как я.

Она смеется холодными своими глазами. Она ставит перед ним на ночной столик смрадную жидкость в пузырьке. Ее голос сдержан. Ее тон непререкаем:

– Пора, Юра, провести курс бромидов. Твоя нервная система уже больше месяца взывает к помощи.

– Ничего она не взывает.

– Не пугайся, родной, лечение не будет длительным...

По профессии жена врач, притом психиатр, и Стрепетову никак не понять, в какой мере она подсмеивается и в какой хочет его вылечить, да он и не пытается понять. Он о другом. Он о своем. Он думает о том, что одолеть «мебельщика» никак не удастся – а почему? – Стрепетов пьет смрадные капли и в который раз обдумывает положение и выпавшую ему

роль: похоже, что этот тупица Михайлов и Алевтина (надо сказать, тоже умом не блещет) ждут или выжидают, не предложит ли он, Стрепетов, обаятельной поэтессе руку и сердце и оставшееся в паспорте местечко для штампа – делал же он это трижды, а для людей, где три, там четыре. Пожалуй, оженят. С них станет. Стрепетов ворочается в постели и чертыхается. «Не спится! – Он берет пузырек с каплями и начинает его зачем-то встряхивать. – По-моему, ты дала мне возбуждающее». – «Это по-твоему», – сквозь сон сурово отвечает жена. «Но почему же я не сплю?» – «А ты спи. И не капризничай».

Одно время, дней пять, что ли, это тянулось, ему до такой степени осточертевает Михайлов (сидеть с туповатым типом нос к носу и ждать, пока туповатая поэтесса оценит, кто из вас лучше, – о господи!), что Стрепетов и впрямь думает – а не жениться ли? – в конце концов, он делал и делает со своей жизнью, что хочет; куда хочет, туда себя и швыряет, а здоровья смрадными каплями все равно сбережешь немного. В конце концов, жизнь – это жизнь: Стрепетов в свое время болел рожей, лежал с переломом бедра, сидел пятнадцать суток, был искусан взбесившимся ньюфаундлендом; после всего этого он вполне может позволить себе еще род удовольствия – пожить с женой-поэтессой. Он будет обладать поэтессой ночью, а также поутру, а также, если очень захочет, в середине дня, и уж во всяком случае, из ее квартиры «мебельщика» как ветром сдует. Но Стрепетов остановился,

и вовремя. Хватит с него жен; этак и имена не упомнишь. Помрачение длилось недолго, да и можно ли долго – пять дней, что ли, и на шестой стало ясно, что и Алевтина, и *вечера* у нее после женитьбы немедленно и необратимо потеряют свою прелесть и свою магию. Приятно же (именно иногда) прийти к ней издерганному, исколотому недругами и с натянутым, как барабан, самолюбием, в котором еще ухают и отзываются чьи-то глухие злобные окрики, – прийти, и выпить кофе, и вытянуть ноги, и медленно, медленно, медленно расслабляться. Жизнь перенасыщена. Дел не переделать. Жене сказать, что идешь на заседание матобщества, в обществе – что читаешь сегодня спецкурс, студентов спецкурса, не говоря лишнего, разогнать, распустить с задачками на дом, остаться в долговом списке кто? – первая жена – ей позвонить, сказать, что наведишь не сейчас, а после поездки за рубеж. Это ее вполне устроит – костюмчик для сына, авторучку для сына, набор слайдов для сына, а ей какую-нибудь броскую тряпку и, как только она метнется к зеркалу, потихоньку сунуть пацану жвачку... Сказав и позвонив по всем этим направлениям, исчезнуть. Пропасть. Раствориться. Нет такого человека, понимаете, нет. Уехать к Алевтине и сидеть там, вытянув и расслабив ноги, и ни о чем не думать и слушать.

Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая... —

завывает она, конечно, как при луне волчица, но при всем том какой голос, какое чувство стиха. Даже сейчас, вдалеке от Алевтины, отгороженный от нее ночью и пространством в полгорода, Стрепетов вдруг слышит звучание стиха и ощущает подобие той самой расслабленности, и этого хватает – звучание завораживает, действуя в параллель с изысканной смесью бромидов и валерьяны, – и Стрепетов наконец засыпает.

* * *

Соперничества, тем паче унижительного, Стрепетов вообще не выносит: он знает, что женщинам он нравится, и это знание либо немедленно приводит к цели, либо вызывает легкое и столь же немедленное отвращение к «борьбе за баб»... Разумеется, можно начать играть и сорить по-крупному, можно ввести Алевтину в круг математиков, она будет без ума, давно рвется. Можно завлечь или просто притащить Алевтину в университет на свою лекцию, можно даже прихватить ее с собой в Париж на очередной симпозиум в качестве секретаря, есть такая возможность – какая женщина устоит против двухнедельного пребывания на Монмартре?.. Стрепетов колеблется: все это, разумеется, можно сделать, но есть тут некая постыдность и жалкость, есть явное и ясное признание того, что он не может справиться с «мебельщиком» сам по себе и вынужден спекулировать на атрибутах

мирской суеты и славы. Стыдно. И плюс – тут уж Стрепетов признается себе до конца – нет уверенности, что вся эта тяжелая артиллерия поможет и пересилит и что после, скажем, осеннего в дымках Парижа Стрепетов не обнаружит у Алевтины «мебельщика», который вновь объявится зимой, в первый же снегопад, тут как тут. А похоже, так оно и произойдет. И это уже будет совершенно непереносимо, и какой же останется шрам.

«Да и чего ради?» – Стрепетов кривит губы. В который раз он повторяет себе, что Алевтина глупа, и взбалмошна, и неразборчива в людях, и вообще млеет от высоких слов, как млеет дикий и неотцеженный человек, который жизнь целую был диким и неотцеженным и только-только вчера услышал и почувствовал, что есть небо, и красота, и Бог. Она именно из них. Из тех, кто только-только слез с дерева и теперь шумит и кричит, думая и полагая, что никто о небе, и красоте, и Боге до них не догадывался.

Неожиданно он чувствует, что ревнует, – ну да, он едет в машине, он за рулем, он оставил их там вдвоем, – и вот он едет домой и ревнует Алевтину самым элементарным образом, ревнует и исподволь злится...

3

Михайлов и Алевтина сошлись разом и как-то стремительно, хотя, пожалуй, именно для Михайлова это было стремительно, а в общем, время у них отсчитывалось и время шло. И, быть может, догадываясь, что для него это стремительно, и стремительность оправдывая, Алевтина тогда же (в первый их вечер) говорит:

– У меня бывает такое. Вдруг понравится очень мужик – и я уже не стараюсь себя сдерживать.

Поясняет:

– Свободная и одинокая женщина. Незамужняя – и ведь тоже хочется ласки, верно? – И опять же по ее глазам видно, что ничего дурного за сказанным не стоит, разве что ее особенный, и личный, и женский, и оправданный одиночеством поиск.

– Конечно, хочется, – тут же кивает Михайлов. – Конечно.

Приходить к Алевтине удобно: метро, разумеется, и время, но метро и время не в счет. Михайлов сказал, что женат и что дети, и тут уже есть доверие, поскольку вообразить, что у Алевтины цель и что она из тебя хочет что-то выудить или чем-то заарканить, невозможно – хочешь, приди, не хочешь, как хочешь.

– Замечательно у тебя, – говорит он ей как-то, прикладываясь губами к чашечке с кофе. – Даже не представлял себе,

что может быть так замечательно. Знаешь, я ведь тебя боялся сначала: я вообще баб боюсь.

– Знаю, – смеется Алевтина. – Все знаю.

А его чуть ли не восхищает открытость и ясность Алевтины. Есть у нее подруга, тоже симпатичная, но та куда больше смахивает на ловительницу мужика или мужа – слишком уж прикипают к тебе ее глаза, слишком женщина, слишком мать-одиночка. Есть и друзья. Алевтина разговаривает с Михайловым лицом к лицу и прерывается, и вот она уже говорит *тому* по телефону, не уходя даже в другую комнату, все на виду («Я не смогла. Я была занята. Я женщина, милый, прости меня»), и все это ничуть не убыстряя и не замедляя своего естественного ритма жизни и, уж конечно, не суетясь и не краснея. Именно эта ее способность, не обидеть тебя и не спугнуть его, чуть ли не восхищает Михайлова.

– А красиво ты с нами управляешься, – говорит он как-то Алевтине, когда получается совпадение и кто-то к Алевтине приходит, – приходит, сидит, пьет кофе и потом, окрыленный, уходит, уверенный, что Михайлов – это просто какой-то толстый дядька, в деле не участвующий. Чудак с тем и уходит, ликуя, хотя Алевтина вела себя с ним ровно, ни одним словом присутствующего здесь Михайлова не задев и не принизив. И, уж конечно, не сказав, что Михайлов родственник из Ленинграда и что ему, увы, негде переночевать.

– Управляюсь? – Ей не нравится грубоватое слово.

– Ну это я так. Прости, ради бога. – Михайлов тут же идет

на попятную. Но в то же время он хитро ей улыбается – есть, мол, люди наивные, чудаки, а мы, мол, с тобой люди умные, и тем более нам с тобой стоит общаться и дружить. Михайлов посмеивается.

Он посмеивается теперь довольно часто, он смотрит на ее жизнь как бы сверху вниз, как бы шутя, как бы взрослый на играющую девчурку, – он посмеивается и не замечает, как втягивается сам в эту ее жизнь. Однажды Михайлов едет к Алевтине исключительно из-за того, чтобы узнать, чем и как у нее кончилось с пьянчужкой мужем (она в тот раз недорассказала – прервали, а ведь любопытно), в другой раз ему любопытно послушать и узнать, например, о ее подруге с прикипающими глазами, в третий раз и вовсе без причины – попросту выпадает тоскливый вечер, а деться вроде некуда, а домой можно, конечно, и попозже.

Раз в месяц – это, разумеется, редко, это даже дико; раз в неделю – это, пожалуй, часто; Михайлов прикидывает, и это он уже ограничивает себя – два раза в месяц, а самое большее три – времени у Михайлова в обрез, человек занятой, семейный, к тому же буквально разрываемый на части заказчиками («Уж пожалуйста, шкафчик и стенку. Уж пожалуйста, ждем в восемь, а днем не можете?» – а днем он не может, днем он в цеху), и потому два раза в месяц кажется Михайлову и солидным, и достаточно частым, пока однажды Алевтина не говорит ему:

– Значит, в апреле милого больше не ждать. Значит, в мае

теперь? – И смотрит с улыбкой, и обиды нет, а если обида, то запрятанная.

И то, что он угадан и как бы даже с равнодушием угадан, задевает Михайлова. Алевтина смотрит на него с улыбкой и с некоторым сожалением, но он так же занят и замотан, как все обычные люди, и даже эту обычность она ему прощает. Михайлов задет. Он появляется у нее на этой же неделе, и еще раз, и еще, и вновь обнаруживает, что здесь замечательно. А когда однажды у Алевтины в гостях появляется незнакомый мужчина, явно новенький, Михайлов вдруг с удовольствием чувствует себя старожилом этого уюта. Широкое чувство: Михайлов и ведет себя как старожил – просит кофе, прохаживается, привычно и со знанием роется на книжной полке. Тут он впервые понимает, что в известной мере живет в этой квартире: зачистил, браток, – у него любимые *свои* книжечки стихов, *своя* чашка, из которой он пьет кофе, и кресло, на которое он садится чаще, чем на другое, вроде бы тоже *свое*. Кресло это кажется Михайлову сравнительно с двумя другими куда более уютным и расположенным заведомо лучше – из зеркала выглядывает часть прихожей: видно, например, кто придет и как придет. И даже само чувство к Алевтине, а оно поначалу было средненькое, перестает быть сгустком тепла или, скажем, частицей жизни, потому что сгустком тепла и частицей жизни становится само ее жилье, и пространственное расположение вещей, и кресло, и книги, и чашка для кофе. А появившийся новенький

– это Стрепетов. Нет, новенький был, и мелькнул, и как-то мгновенно исчез, а второй новенький – вот это уже математик.

Михайлов видит вдруг, что теперь не его черед и час и что теперь в эту ее жизнь втягивается Стрепетов, приходит Стрепетов, звонит Стрепетов. И, по-видимому, математик тоже привыкает незаметно и тоже поначалу смотрит на жизнь Алевтины свысока и посмеиваясь и, быть может, ограничивая себя, уже тоже думает про два раза в месяц. В общности и схожести чувства тут можно не сомневаться. Алевтина читала стихи в поездке по Крыму – там их трудилась целая рота: певцы, поэты, рассказчики-юмористы. А математик в Крыму отдыхал. Остальное Михайлов и сам может дорисовать. И первый их вечер тоже. Дорисовав, Михайлов находит даже, что математик – это неплохо и это много лучше, чем рассказчик-юморист из той же бригады или, скажем, конференсье (нечто навязчивое и постоянно раздражающее – он занимал бы у Михайлова тройки и непринужденно распивал бутылец: «А мы, брат, по-быстрому!» – утверждая при этом, что у него широкая душа, а у Михайлова нет). Математик не худшее, без драк хотя бы.

* * *

Алевтина в новом теперь и в не лучшем свете, как всякий человек, делающий выбор. Она на виду. Она не только

знакомится, не только влюбляется и потом разочаровывается и дает отставку – она режиссирует весь процесс, она тянет нить, она мелькает спицами, она вяжет, как вязала ее прабабка теплые носки внуку. «Нет, Михайлов. Сегодня я утомлена». – «Я приду посидеть», – уверяет Михайлов. «Нет-нет. Сегодня у меня гость. Тот математик», – откровенно и просто объясняет в телефонную трубку она, уверенно и легко отодвигая вечер с Михайловым по меньшей мере на неделю. А что поделаешь. Его вытесняют просто и, чтобы не болело, без церемоний. Алевтина сама вяжет роман, сама ставит точку и сама доставляет тебе горечь, не дожидаясь, пока ты вдруг уйдешь и доставишь горечь ей.

Михайлов пытается что-то переменить, звонит чаще или приходит к ней без звонка и внезапно («Случайно шел мимо – дай, думаю, найду»), но тем бесцеремоннее его вытесняют. Алевтина сердита: «Знаешь, Михайлов, ты что-то зачастил, помни свое место».

– Я же проходил случайно – дай, думаю...

– Брось.

– Не веришь, а я расскажу – я ехал от Павелецкого к одному заказчику, он живет...

– Михайлов. Мы же взрослые люди! – Алевтина раздражена. Она всегда его хорошо принимала. Она читала ему стихи. Она варила ему вкусный кофе. Она честно и искренне любила его, она отпустила ему этой нележкой, надо сказать, эмоции – полную меру. А больше не надо – не она его, так

он ее завтра бросит, разве не так?.. Оба обостренно молчат и, может быть, впервые видят и понимают друг друга – понимание, в сущности, и начинается с той минуты и с того изгиба отношений, когда одному нет, а другому больно.

– Такие вот дела, – без всякого смысла произносит Михайлов и повторяет, сколько можно прячась в себя и в свою медлительность: – Такие вот дела...

Алевтина треплет его по плечу. Но голос отнюдь не мягок:

– Выше голову, Михайлов. Ничего из ряда вон не случилось, пока нам больно – это еще жизнь.

– Шибко мудро, – ворчит Михайлов.

– Что да, то да. Стихи я пишу не шибко мудрые, но сама я ничего!

Она целует его в щеку и прибавляет мягче:

– Ладно, Михайлов, иди домой.

– Ждешь гостя?

– Жду я или не жду – пусть тебе это будет все равно.

– Пусть, – кивает он.

– Вот и умница.

Он уходит. Он вытеснен – это ясно, и еще одно ему более-менее ясно – он получил по морде, и крепко получил, и теперь должен быть благодарен за урок и уйти как бы с заданием на дом, исчезнуть. Так оно и бывает, не он первый. Извлекут опыт, и бегут дальше по жизни, и торопятся, и ищут, где бы этот опыт теперь использовать, называя свою боль и все, что с ними было, прошлым. Но в том и суть, что для

Михайлова это не просто Алевтина, и не просто опыт, и никак не прошлое – это любовь или почти любовь, да еще под занавес жизни (ему сорок, и Михайлов из тех, кто считает, что сорок – это уже под занавес). И потому Михайлов уйдет, но не совсем.

Сначала он исчезает. Его нет. Но недели две спустя (Алевтина его когда-то об этом просила) он отправляет ей с рабочими изящный шкафчик, счет, конечно, приложен – никаких, извините, даров. И записка приложена – так, мол, и так, сделали, как ты просила, извини, что дороговато (на самом же деле цена занижена, выгодная и видная вещь). Следует звонок Алевтины. Спасибо, и не больше. Но и не меньше. Михайлов же деловит, сух и говорит ей (хотя она вовсе его к себе не зовет), что в эти дни он, Михайлов, очень, очень занят.

– Зайти не смогу.

– Вот и умница, – говорит Алевтина не без иронии. И опять же к себе не зовет. И ждет, что же он теперь, загнанный в тупик, скажет.

А вот что:

– Слушай-ка, нужен тебе кухонный шкафчик? У нас как раз начали изготавливать: емкие и современные.

И еще неделю и другую он не является и не звонит. Получив кухонный шкафчик, звонит она:

– Михайлов, ты меня уже давишь своей мебелью. Почему так дешево?

– Такая цена. Нестандартное дерево.

– Не дури мне голову.

– Как хочешь, – смеется он. – Можешь заказывать мебель в другом месте.

О чем-то надо бы теперь о постороннем. И Михайлов говорит:

– Вчера по телевидению гнали старый фильм «Стройка» – не видела? Там актер, на меня похожий.

– Наверное, он покрасивее? – не церемонится с ним Алевтина.

– Покрасивее. – Михайлов охотно соглашается и охотно смеется.

– И тоже, как ты, молчит часами?

– Молчит. Все время молчит. – Михайлов смеется. – Да и фильм, если правду сказать, немой...

И опять он не ходит и не звонит. Однажды он все-таки приходит, но это как бы не он, а как бы просто знакомый, в меру нужный хозяйке мебельщик. Стрепетов, конечно же, здесь. Но Михайлова Стрепетов не заботит – Михайлов спокоен, деловит, и видно, что он ни на что не претендует. Он спрашивает о здоровье, без суеты осматривает, так ли вписалась новая мебель – а она вписалась так, она отлично вписалась, ему ли не знать интерьер этой квартиры, – и уходит, оставляя их вдвоем и не пробыв там десяти минут. Потом Алевтина ложится в больницу с аппендицитом. Михайлов ходит к ней, носит какие-то там яблоки и апельсины, однако

не больше, чем другие (а другие тоже ходят и носят), – единственное, что он делает, – идет на прием к заведующему отделением, после чего заведующим сам оперирует Алевтину, так как она из боязливых и не хочет, чтобы ее оперировали милые студенты-практиканты. Михайлов не простаивает под больничными окнами. Михайлов не пробирается мимо шоколадниц-сестер, чтобы поболтать с Алевтиной в больничной палате. Он не лезет в душу. Он делает не больше, чем хороший с нами человек. Но и не меньше. И когда Алевтина наконец выписывается из больницы, она зовет его в гости – она полулежит, она еще не вполне оправилась. Они вдвоем. Михайлов сам варит кофе и себе, и ей, и вот он разливает в чашки горячую и пряную жидкость, а Алевтина следит за его медлительными движениями и, чуть откинув голову на подушку, произносит вроде бы переломную фразу:

– А ведь ты настоящий друг, Михайлов. – Они получают слишком нагие, эти слова, и нагота лишает их убедительности, но суть остается: а ведь ты настоящий друг, Михайлов. Без восклицания.

Он молчит. Алевтина разглядывает его, как разглядывают человека, вернувшегося после долгого отсутствия, – ей доставляет удовольствие взглянуть на людей как бы заново и как бы заново им, людям, удивиться. После болезни человека многое радуется. Они выпивают по капле вина. Алевтина покраснелась.

– По-человечески я тебя очень люблю, Михайлов, и зна-

ешь, совсем не так, как я раньше тебя любила. – Алевтина немного смущается. Она, в общем, уже проговорилась, но проговорчивость видна ей – ему еще нет.

– Я рад, – говорит он.

А она ищет слова:

– ...Люблю, но мне, допустим, совсем-совсем не хочется постели. Ничего не хочется. – Теперь улыбка у Алевтины извиняющаяся и робкая. И слова точнее. – Тебя не обижает?

– Нет.

– Честно?

– Честно.

– Ты, Михайлов, просто золото.

Он молча варит еще раз кофе – они пьют. Потом Михайлов уходит. Алевтина останавливает его окликом – она хочет *хотя бы* почитать ему стихи.

– Я ведь еще очень слаба. Много я не прочту, а все же это стихи.

Она читает то, что он когда-то хвалил. И он опять хвалит. И уходит. Он уходит и как бы уносит наконец с собой то, что хотел унести. Стихами можно отблагодарить на слишком короткое время, и, когда стихи раз от разу потеряют смысл и значение отдарка, она попадет в некое подобие зависимости от Михайлова. Алевтина этого не знает пока. Но зато Михайлов знает отлично. Что касается щекотливого оттенка в деловых отношениях, он даст сто очков и математикам, и физикам, и лирикам, и кому угодно. Михайлова подчас даже

поражает, как они легко идут на поводу и не пугаются, не боятся изысканных этих отношений, неужели наивные: он ведь ведет игру на виду и, в общем, в открытую и хоть завтра может прекратить и прислать счет, а они не пугаются и не боятся.

* * *

Теперь вот (и именно теперь) начинается то самое просиживание друг против друга с чашечками кофе в руках – и оба, и Стрепетов, и Михайлов, так сказать, признаны и приняты, и это, вероятно, несколько нарушает обычную спланированность жизни Алевтины, но Алевтина неспланированность эту терпит. А время идет. Стрепетов все еще посмеивается, как посмеивается *старожил*, но и тут эволюция, математик заметно нервничает. Михайлов же продолжает свое – тихое и скромное, ненавязчивое вползание: состояние «я тебе, ты мне» не так уж и сложно, однако только до той поры, пока оно не переходит в состояние незаметной зависимости. Кто-то из гостей, вот паразит, испортил у Алевтины магнитофон – мелочь, совсем мелочь! – Михайлов в телефонном разговоре об этой мелочи кстати вспоминает. И говорит ей:

– Слушай – как раз сейчас у меня заказчик один есть, он инженер по телевизорам и прочей технике – прислать?

– Ой, Михайлов, это неудобно.

– Алечка, не волнуйся: он у меня по уши в долгах. Он

будет счастлив хоть чем-то отблагодарить.

– Спасибо, Михайлов...

– Только не вздумай дать ему рубль за труды. – Михайлов смеется. У него нет как раз сейчас такого заказчика, это он солгал, но он смеется. Он роется в своей записной и находит, правда, не инженера, а техника (все одно) и действительно по телевизорам и прочим домашним агрегатам, и действительно у Михайлова он в долгах – короче, через три дня магнитофон Алевтины в лучшем виде. Заодно сменены старые блоки. Заодно почищен и смазан мотор. Заодно принесены в дар две пленки с современными записями. Алевтина как-то охает – нет у нее подписного издания Мопассана, она бы заплатила и выложила втрое, но где его найти (она охает между прочим и без прицела, как охают часто женщины, – и при Стрепетове, и при Михайлове, и при прочих знакомых тоже). Михайлов роется (на другой же день, не проронив вперед ни слова) в засаленной записной, отыскивает книжника, и через неделю Мопассан на столе у Алевтины. Разумеется, за деньги; разумеется, без нажима и тяжести дорогого подарка, однако ведь Алевтине не бегать, не искать, не поднимать пыли – человек сам к ней приезжает и сам недорого продает. Михайлову совсем нетрудно было перекупить и, скажем, подарить ей, но он чтит ненавязчивость. Он ткет, конечно, но он ткет легко и вдали и раскидывает в самых высоких углах, понимая и чутко предвидя, что дары угнетают, и задариваемый или задариваемая чувствуют себя не лучшим образом и

рано ли, поздно ли будут жажда из паутины освобождения. И Алевтина его ненавязчивость ценит. И вытканной паутины не видит. И не жаждет освобождения. Как-то в постели после близости и в состоянии утомления (она только что переболела гриппом) Алевтина говорит:

– Ты потрясающе милый, Михайлов.

А он смущается. Он всегда смущается ее похвал, понимая, что он не острослов и не красавец и что он далеко не Стрепетов, а лишь обычный человечек с деловой сметкой, выработанной в мебельном ателье и в мебельное время. Он натягивает простыню (стесняется своего большого и жирного тела), а Алевтина тут же замечает и засекает движение и, оттягивая угол простыни на себя, смеется:

– Ну чего ты стесняешься – ты милый, милый, милый, я люблю тебя. – И добавляет: – У тебя приятное тело.

– Это у тебя приятное тело.

– Что, что?

– Ты же слышала...

– Нет, повтори. Выжать из молчуна такой комплиментнице – да после этого не страшно всю жизнь числиться в дурнушках! – Она смеется. Она встает и голая, счастливая идет на кухню, чтобы заварить им обоим крепкого чая и чтобы он видел, как и каким шагом она чай сейчас сюда принесет.

И возвращается чувство; удивительно, но еще удивительнее, как оно возвращается; сначала скрытые подарки и ненавязчивые услуги – это только ход, довольно точный и про-

думанный ход, из тех рычагов, какими Михайлов поднимает себя в глазах Алевтины. Но очень скоро Михайлов отмечает, что дарить радостно. Это любовь. Из давних и чуть ли не пещерных времен всплывает оно, сродни поклонению женщине, и загнанный обычный человек по фамилии Михайлов вдруг узнает и угадывает это чувство, хотя не знал его никогда. Он знал, конечно, из кинофильмов, но считал такие вот подарки и подношения лишь разновидностью мужского ума, умением привлечь женщину или умением ее удержать. Михайлов удивлен. Он прислушивается к самому себе – так ли торжественно чувство, как ему кажется, так ли чисто. В эти дни он и делает Алевтине тот удивительный столик об одной ножке (сам придумывает, сам рисует наброски и модель и тщательнейше следит за исполнением), в эти дни и начинается та полоса, когда рабочие на фабрике болтают там и сям, что из Михайлова сосет соки баба. Михайлову плевать. Он не замечает пыли. Зато он замечает другое – Стрепетов проиграл.

И вот вечер, и Стрепетов сидит в последний раз, а вот минута из последних – математик поднимается и сообщает, что ему пора домой.

– Я выпью, пожалуй, еще кофе, – это Михайлов.

– И я! – подхватывает Алевтина.

А Стрепетов, такой умный и такой неоцененный, поднимается и уходит. Он спускается по лестнице и в сердцах повторяет:

– Тупица выиграл... Тупица выиграл, а как?

Михайлов это слышит. Математик забыл шарф, он слишком быстро и взвинченно ушел и, конечно, забыл, и Алевтина посылает вслед Михайлова – догони, мол, и отдай. Михайлов берет шарф (а Алевтина ему улыбается: «Жду, милый, возвращайся, милый») и, трясась грузным телом, вприпрыжку нагоняет по ступенькам Стрепетова и вот тут слышит про «тупицу» – слова неразборчивы, но смысл ясен, и горечь мужчины ясна тоже. Он нагоняет, отдает ему шарф – это уже у выхода.

– А, – говорит тот. – Спасибо. – И уходит. А Михайлов поднимается вверх.

– ...Таким вот образом вычисляются коэффициенты Лагранжа. Все ли ясно? – Молчание. – Все ли ясно? – повторяет Стрепетов ровным голосом, и это он читает лекцию, отмечая и отчеркивая смысловую паузу в данный момент. – Студентка! Вы... Нет, вот вы! – указывает пальцем и зовет он, не помня фамилий. – Идите к доске и помогите-ка мне посчитать. Идите, идите. Бояться не надо. – Легкий гул. Студенты оживились. Выбранная жертва подходит к доске, и Стрепетов вручает ей мел. Она слушала лекцию. Она внимательно записывала, однако неожиданность приводит ее в известное состояние подавленности и полной немоты.

– Ну?

Она молчит. Он не смотрит на ее лицо – он берет ее руку в свою и, водя по доске ее рукой с зажатым в ней мелом, начинает писать формулу. Потом улыбается и отпускает руку, как отпускают ребенка, чтобы он сделал несколько шагов самостоятельно. Ребенок делает два-три шага и, как и положено ребенку, падает. Стрепетов вновь берет ее руку в руку и вновь пишет. И наконец отпускает ее тихую душу с миром.

– Продолжаем... – говорит Стрепетов.

И студенты (каждый из них пережил эти минуты у доски применительно к себе), стряхнув оцепенение и некоторую сонливость второго часа, тут же прикипают к тетрадкам. Они

боготворяет Стрепетова. Моложав. Красив. Много ли надо, чтобы стать идиолом. Ну и утонченные насмешки, конечно, – относиться насмешливо к их молодому и сырому уму для Стрепетова привычно, но это не значит, что в глубине души он с ними не считается. Он считается. Он попросту издерган. Он не знает отчего, но знает, что издерган.

А дома, вечером, его уже будет ждать жена, очень продуманно и мило создавшая помесь семьи и санатория на дому. Врач-психиатр, шутка ли. Сухая, скупая на слова и рубли – и любящая, конечно, – она лечит его прежде всего отборнейшей медицинской терминологией, вскользь и исподволь сообщая о человеческих недугах. Стрепетов уже мог бы, пожалуй, и сам читать лекции о том, как зачинается и возникает (а у него уже возник) гастритик, как образуются на этих же тканях язвы и полипы и как чуть позднее вся эта радость двадцатого столетия переходит в неудержимо растущие клетки. Стрепетов пуглив (она это знает и с любовью этим пользуется), при мысли о смерти он делается трепетной ланью, олененком, хотя и умеет над страхами своими смеяться. Дома он лечится. Дома он живет. Дома он вручает свою психику жене с великим доверием. Но именно поэтому возвращаться домой после трудового дня он иногда не торопится. Не так все просто. Не так все однозначно. Стрепетов дорожит домом, очень даже дорожит, но возвращаться туда не торопится и оттягивает минуту, слишком хорошо зная, что его там ждет. Этот промежуток меж рабочим днем и домом он ста-

рается использовать, чтобы хорошенько расслабиться и забыться – хотя бы раз в неделю, хотя бы редко, хотя бы иногда. Этот-то временной промежуток он и называет отдушиной.

* * *

А отдушины нет – он проиграл «мебельщику», и уже три или четыре месяца он не видел Алевтину. И даже не звонил. С трехмесячного расстояния Алевтина уже как бы не Алевтина; чем далее, тем сильнее она смыкается и срачивается с этим словом. Жизнь слишком насыщена, чтобы держать в голове и конкретно помнить вздорную, и шумливую, и грудастую, и завывающую при чтении стихов поэтессу. Зато взамен ее, взамен живой женщины в памяти возникает и идет в рост слово «отдушина», оно пускает корни, оно растет и раскидывает крону, и объем, и свою даже тень, как раскидывает объем, и крону, и тень большое дерево. Оно становится понятием, оно становится звучащим и грандиозным *словом* и заполняет сознание Стрепетова, требуя там, в сознании, своего места и своей доли. Алевтина или не Алевтина, неважно; важно, что была отдушина, теперь ее нет, – вот что точит Стрепетова...

А любимый профессор (то есть тот, у кого Стрепетов в любимцах, это точнее) говорит ему:

– Плохо выглядите, Юрий. (Нездоровы?)

– Да нет, я, в общем, здоров. Разве что нервы...

– Что, что?

– Нервы.

– А гимнастика?

– Ненавижу гимнастику.

– Напрасно. – Они встретились в коридоре. Они прогуливаются – преподаватель старый и преподаватель молодой. Студенты в одиночку, и стайками, и целыми косяками огибают их и дают зеленый путь. Любимый профессор тем временем рассказывает о гимнастике йогов. О том, как полезно пить кипяток поутру. О том, как важно отлаживать глубокое дыхание в позе лотоса. А поза змеи гарантирует интенсивную и бесперебойную работу пищеварительного тракта. Стрепетов слушает и дается диву: что за поколение, они умеют увлекаться чем угодно. Веры в старом смысле нет, однако способность верить еще не кончилась и не сошла на нет, отсюда и чудаковатые... Стрепетов продолжает беседовать, а в параллель чувствует, что те незабвенные два-три часа отдушины неумолимо приближаются – промежуток меж работой и домом все ближе, – а вот пойти ему, Стрепетову, некуда.

Некуда – и Стрепетов перебирает в памяти заменители, но они, как и положено заменителям, малопригодны. Есть, к примеру, молоденькая аспирантка, Варей зовут; и влюблена, и мила, и с квартирой, однако отдушины там не получается. Звонит часто. Дергает. Расспрашивает о жене. Главное же, что все или почти все ее разговоры о науке, о диссертациях, об оппонентах – и этим немедленно подстегивается недрем-

лющее тщеславие Стрепетова, а тщеславию тоже нужен отдых: лошадку, которая тебя везет, нельзя гнать и днем, и вечером. Есть еще вариант: маникюрша, тридцатилетняя, умная, дает все, что нужно, и не спрашивает, что не нужно. Однако у нее братец – шумливый, обидчивый, вдруг приводит всякую братающуюся полупьянь, и уже через десять минут нет тишины, нет кайфа, нет отдушины. Не то.

Пожалуй, суть даже не в маникюрше, не в аспирантке и не в их разбитных братцах и сестрах – суть в том, что его, сорокалетнего преподавателя, с детства помешавшегося на стихах Лермонтова, тянет к Алевтине, и именно к ней. Это как любовь, а может быть, это и есть любовь или вид любви. Отдушина – это отдушина, и никак не меньше; это, пожалуй, индивидуально и избирательно, и не всякая женщина годится в отдушины, как не всякая женщина годится в жены. А уж если тянет к стихам, не такое уж оно мелкое чувство, не прихоть и не блажь; тут своя боль, отдушина как-никак от слова «душа», и некоторые, например, старики на последнем своем больничном матрасе ни о чем более не думают, кроме как о той или иной отдушине; детство, между прочим, тоже отдушина.

И совсем не случайно в некоторые минуты туповатый или, скажем, хитроватый Михайлов делался ему даже симпатичен. Тоже ведь человек и тоже собачится. И уж во всяком случае, у Стрепетова нет и не было к Михайлову той неприязни, которая нет-нет и полоснет (могла бы полоснуть) по

сердцу, когда подумаешь, что он с той же женщиной, с твоей женщиной, знаешь, и он тоже про тебя знает, и оба знаете, и все трое, пожалуй, знаете или догадываетесь.

– У тебя, чувствую, тоже жизнь замотанная, – сказал Стрепетов как-то Михайлову (Алевтина печатала на машинке свои творения).

– Замотанная...

– И тоже только тут можешь расслабить ноги?

Михайлов усмехнулся, не ответил и словно что-то свое спрятал.

– О чем это вы? – спросила Алевтина, на миг отвлекаясь.

– О ком, – засмеялся Стрепетов. Он невольно сказал тогда мирные слова Михайлову – сказал и тут же дал тормоз, не переходя слишком границу. Минутная симпатия – это минутная симпатия, не больше, а взаимное высиживание продолжалось и даже усиливалось в те дни, пока хитроватый Михайлов каким-то образом не высидел Стрепетова окончательно.

* * *

Странное все же чувство, если это, конечно, чувство, странная любовь, если это любовь, продолжает размышлять Стрепетов. Он (после лекций) торопится в НИИ, где ежедневно проводит консультации. Он спешит. Он гонит машину, и времени у него в обрез – потом часа на полтора в Вы-

числительный центр, потом вновь в университет, и только потом он сможет поехать... куда он сможет поехать? В том и беда, что какой-нибудь кабак для Стрепетова не отдушина, и не только потому, что скучно и что за столиком в соседстве обязательно окажется бывалый и шумный командированный, знаток жизни и цен. И не потому, что вдруг подсядет, что еще утомительнее, навязчивый сноб-интеллигент петербургского разлива, которого можно вынести, только если пить как лошадь, а здоровья, как у лошади, нет. Стрепетов вообще не любит компанию. Он не ходил бы и к Алевтине, будь там народ, пусть даже в виде вполне мирной плотской гулянки – для кого-то отдых, для него нет. Отдушина – это когда ты сам по себе. Отдушина – это в одиночку. Но не в одиночестве, для этого именно и Алевтина, и чтение стихов, и кофе, и род любви... В нескольких метрах от перекрестка Стрепетов едва не совершает наезд. Впереди, кажется, столкнулись грузовики, но заурядность улицы и негромкий, в общем, скрежет распадающихся где-то там стеклов не дают Стрепетову осознать случившегося, однако люди, заслышав там и сям скрип тормозов, вдруг бросаются с проезжей части кто куда, лишь бы поскорее достичь тротуара и не пропустить зрелища. Они спешат. На пути к тротуару и к зрелищу один из бегущих, не глядя, или плохо глядя, или просто в малой панике, оказывается под самым носом Стрепетова – Стрепетов тормозит, но все же задевает. После удара правой фарой человек подпрыгивает, однако не пада-

ет, а, на счастье, взлетает – на миг он зависает в воздухе – и выскакивает наконец за пределы опасности, грозя оттуда Стрепетову кулаком и ругая, конечно, его мать. Стрепетов застыл. Он не в состоянии двинуться. Он у самого тротуара. Он сидит, обхватив руль, и старательно дышит, сгоняя волнение и перемогая стресс.

* * *

В такой вот примерно день – а дни схожи – Стрепетов оказывается у Алевтины; он именно оказывается, он даже не успевает подумать: зайду, мол, на минутку и погляжу, как там *они*, и, может быть, кофе выпью, – даже скромной и загодя капитулянтской этой мысли не успело возникнуть. Как бы по привычке Стрепетов прячет ключи от машины и устало поднимается к ней. Вечер как вечер. Время отдушины. Хитроватый Михайлов, разумеется, здесь и, разумеется, любим и выкупан в ласке.

– Смотри, кто у нас появился, – я уж и забыла, как его зовут! – кричит Алевтина.

И только тут Стрепетов понимает вполне, куда он приехал и к кому пришел.

– Н-да... Можно знакомиться заново. Срок огромный, – медлительно и тяжело шутит «мебельщик».

– Кофе хочешь? – Алевтина отыскивает Стрепетову чашку с аистом, наливает и смеется: – Долгонько тебя не было

– месяца четыре, а?

Стрепетов подавлен собственным здесь появлением! «Зря пришел», – думает он. Досада и самолюбие обычно не дают ему возможности вернуться – он возвращался и к болтливым женщинам, и к дурнушкам, и к «изменщицам», и даже к корыстным, но никогда к тем, где он в собственных и чужих глазах оказался несостоявшимся и проигравшим. А здесь он именно такой. Это для него внове. Он вяло прокручивает в мыслях несколько давным-давно заготовленных фраз для перехвата инициативы: придуманные в одиночестве фразы казались острыми, а здесь они слишком общи и нежизненны и напоминают удивительно яркие находки во сне, которые утром, когда проснешься, даже ошарашивают своей безликостью и заурядностью. А тут еще Алевтина подначивает, спрашивает не церемонясь:

– Как твоя жена, Юрочка, ладишь с нею?

– Стараюсь, – отвечает Стрепетов.

– Она по-прежнему тебя пугает и лечит?

– Да, – холодно отвечает он, – пугает и лечит. У меня давно уже возникла потребность, чтобы меня пугали и лечили.

– Не за это ли ее любишь?

Он молчит.

– А значит, ты большой эгоист, Юрочка!

– Значит или не значит, – резко говорит Стрепетов (он заметил, что они мило перемигнулись), – но мне моя жена нравится.

Разговор сбит. Стрепетов слишком завысил голос. Михайлов откашлялся и медленно начинает о своем:

– А мне хлопоты предстоят – мой старший в этом году поступает.

Алевтина оставляет (давно пора) Стрепетова в покое и теперь подтрунивает над Михайловым:

– В университет, конечно?

– Да...

– Ты, Михайлов, все-таки ужасно спесив – если сын поступает, то обязательно в университет.

– Сам хочет.

– Уж будто бы?

– Сам выбрал. Математиком хочет стать. – И Михайлов кивает на Стрепетова и улыбается: по твоей, мол, стезе.

– Прекрасная профессия, – сухо и коротко откликается Стрепетов.

– Да. Пацан влюблен в формулы.

– Математика – это, к счастью, не формулы, – так же сухо говорит Стрепетов. Ему надоела досужая болтовня, точнее, он сам себе надоел посреди этой досужей болтовни. Он сейчас уйдет. Встать и уйти – и хватит с него. Однако он не уходит. Более того: уходят они в другую комнату, а он сидит совсем уже без смысла и будто бы чего-то ждет. Алевтина в той комнате клеит какие-то строчки (готовит новый сборник) – она подзывает ближе Михайлова, чтобы помог, а Михайлов, видимо, опрокидывает клей, потому что Алевтина

смеется: «Ну-у, медведь в помощь пришел!» Они выклеивают строчки и воркуют: «Михайлов, это безобразие, а не работа – немедленно переклей строку!» – слышится сердитый ее голос. А Стрепетов сидит и сидит и униженно держится за чашку с кончающимся кофе, как держатся за последнюю возможность.

– Я пошел, пожалуй, – говорит Стрепетов, заглядывая к ним в комнату.

– Еще по чашке кофе – и отчалим вместе, – предлагает Михайлов.

«Отчалим», – морщится Стрепетов. Ждать ему «мебельщика» не нужно, и глупо, и постыдно даже, однако всплеска воли хватило только, чтобы сказать: «Я пошел, пожалуй», – спокойно и с достоинством даже сказать. Но при возникшей малейшей новой возможности он опять садится и сидит, и зад его словно пристал к стулу.

Нет особенного и в том, что после кофе они вместе спускаются вниз. Идет Стрепетов – за ним спускается Михайлов.

– Садись. – Стрепетов сажает его в машину; он, пожалуй, подвезет «мебельщика» до метро, как подвозил когда-то.

Долгое время они едут молча. На душе у Стрепетова устоявшаяся приниженность, и тут он отдает должное такту Михайлова, который ни словом не прицелился в это его постыдное возвращение к женщине.

– Зря я приехал, – вырывается у Стрепетова.

Пауза. Михайлов некоторое время молчит, потом гово-

рит:

– Почему же зря – может быть, как раз вовремя.

Здесь (в этот первый раз) Стрепетов еще не обращает внимания на скользящее «может быть»: оно вроде как вводный оборот и довесок речи для смягчения. Но тут же след в след Михайлов допускает повтор и говорит нечто, никак не ожидавшееся:

– Я, может быть, расстаюсь с Алевтиной. Совсем расстаюсь.

– Разлюбил?

– Нет. Но хватит...

– Почему же?

– О детях думать надо... У меня сложные времена начинаются. Хлопотливые времена. Я теперь только о детях буду думать.

Что-то он еще хочет сказать, но молчит или же *пока* молчит. Но и Стрепетов молчит. У метро «Белорусская» (здесь он, как и в былые времена, вылезает, а Стрепетов поедет дальше) Михайлов вновь начинает говорить:

– Поступить в университет на математический непросто, я это знаю, – не можешь ли посоветовать, порекомендовать кого-нибудь, кто позанимался бы с сыном?

Доверие за доверие. Стрепетов отвечает:

– Я подумаю.

– Сын у меня не темная лошадка, – с расстановкой сообщает Михайлов. – Учится отлично. Но все же надо подстра-

ховаться.

– Разумеется, надо – я подумаю.

Михайлов уже вылез из машины. Стоит, наклоняясь большим телом; благодарит, что его подвезли.

– Давай, Юрий, встретимся и обговорим – ты когда будешь у Али?

Стрепетов в некоторой растерянности, однако он не хочет, чтобы растерянность была заметна:

– Не знаю. Возможно, в четверг... Но, возможно, я вообще у нее больше не буду.

* * *

Если Михайлов уходит – значит, уходит; этот тяжелодум пустых слов не говорит, и если слова его не совсем ясны, то, значит, они попросту промежуточны и недоговорены, но не пусты. По едва уловимым оттенкам Стрепетов догадывается, что Алевтина не знает сказанных в машине слов и, стало быть, Алевтина не знает, что Михайлов от нее уходит: созрело за ее спиной... Однако игра, если это игра, совершенно незнакомая, и Стрепетов не хотел бы сделать неверного хода и шага. Четверг. Он приехал, но он будет сдержан. Он приехал, но будет молчалив.

Стрепетову становится много легче и проще, когда оказывается, что Алевтины дома нет. Дверь ему открывает Михайлов и говорит: «Проходи», – а Алевтины нет.

Она поехала на телевидение: пригласили читать стихи, и, конечно же, для нее и внезапно, и радостно, и, конечно, большая честь – она вернется часа через три, говорит Михайлов, она только-только уехала. По четвертой программе. В девять тридцать. «Так что послушаем сегодня Алечку на голубом экране». Михайлов сияет огромным лицом, он откровенно рад за нее.

– Как-никак для Али это реклама. Это признание. Это может ей быстрее издать книжку!

– Еще бы! – откликается Стрепетов. – Я тоже за нее рад...
Стрепетов, может быть, и рад, но, скорее всего, растерян. Он думает: а был ли тот разговор в машине, не померещилось ли, то есть не сам разговор, а смысл и значение его – были ли? Или же это какая-то психологическая накладка и самообман?.. Стрепетов спешно закуривает. Сдерживая голос и сердце, он хочет выждать, сойти в сторону, но почти тут же не выдерживает и пускает пробный шар:

– Мы ведь хотели поговорить о твоём деле.

– Да, – кивает Михайлов. – Сейчас...

Молчание нарастает чуть быстрее и тяжелее, чем хотелось бы Стрепетову.

– Аля сварила кофе. Пей, он еще горячий, – говорит Михайлов. – Она только что уехала.

И вновь молчание. Теперь они пьют кофе.

– Юрий.

Стрепетов чувствует, что Михайлов поднял на него глаза.

– Да.

– У тебя много работы?

– Хватает. – Стрепетов осторожничает и дает себе возможность обратного хода. – Но, если очень надо, время как-то выкраивается – верно?

Михайлов молчит – вероятно, Стрепетов, нервничая, слишком быстро двинулся навстречу, а такое тоже настораживает и заставляет лишний раз присмотреться. Стрепетов подносит чашку ко рту и чувствует, что Михайлов его рассматривает.

– Значит, есть время?

– Отыщем. (Да есть же, есть время, сукин ты сын, желание есть, все есть – не тяни же!)

Тогда Михайлов решается, тянуть и впрямь нечего:

– Я хотел бы, чтобы с сыном моим занимался ты сам, – ты, Юрий, это понял?

– Конечно.

– И чтобы как надо подготовил его в университет.

– Если он действительно учится отлично, я это сделаю.

– Он учится отлично.

Теперь им обоим и легче, и труднее – главное названо и угадано, но впереди еще подробности и просто какие-то людские и скрепляющие слова, и их не обойдешь, и уже их черед. Поторопленный Михайлов сказал свое и как-то вдруг отяжелел – Стрепетов чувствует, что Михайлову сейчас несладко. Теперь Стрепетов рассматривает его.

– Давай я сварю кофе – хочешь? – начинает Стрепетов. Но спохватывается и тянет из портфеля за горлышко французский коньяк. – Давай лучше пить. Французы подарили; раз уж хозяйки нет, давай пить с тобой.

– Давай. И ей оставим.

– Разумеется, – улыбается Стрепетов. – А надо ли? (Разговор кончен, и можно чуточку посмеяться.)

– Что?

– Надо ли оставлять – бутылка любит двоих.

Михайлов не улыбается.

– Надо, надо. Оставим и ей. Ей будет приятно. – И это означает не только избыточную прочность медлительного Михайлова, и не только его недоверие к шуточкам и ерничеству, которые могут подточить любое верное дело (и ведь верно – могут!), и не только его профессиональную серьезность в деловом разговоре – это означает еще что-то, но что? И тут же Стрепетов догадывается: разговор деловой не кончен; не точка.

Стрепетов спешит, шутка ему не удалась, но близость пусть даже неудавшейся шутки, соседство с ней облегчают речь, и Стрепетов (иначе он никогда не спросит) спрашивает:

– Ты, стало быть, уходишь от Алевтины? – И Стрепетов добавляет к выражению своего лица запрашивающую и прощупывающую собеседника условную улыбку, двоякость которой обезопасит его от всяких неожиданностей.

Но неожиданностей нет. Михайлов говорит:

– Ухожу.

Коньяк разлит. Они пьют по рюмке, потом по второй, они не чокаются – некоторая осторожность присутствует, – один раз Стрепетов было потянулся с рюмкой, но Михайлов свою не поднял и уж точно не поспешил поднять.

Михайлов выпивает. Потом отдыхивается. Потом говорит:

– У меня еще сын.

– Тоже будет поступать в университет?

– Да... Но не сейчас. Он в девятом. Через год.

И тут Стрепетов уже не может не поглядеть глаза в глаза Михайлову: каков мужик... Стрепетов секунду-две прикидывает, как прикидывает цену: одно лето на приемных экзаменах так уж и быть, но на следующее лето он хотел бы в запас свободы и покоя, хотел бы куда-нибудь удрать, уехать. Два лета кряду в городской жаре не сахар, но именно эта несакхарность (и Стрепетов это теперь понимает) придает устойчивость и прочность их сговору.

– Не много ли хочешь? – смеется вдруг он.

– Немного. – Михайлов серьезен. – Тебе будет не так уж трудно: второй сын тоже хорошо учится.

– Надеюсь, у тебя только два сына?

– Два. – На лице Михайлова наконец-то если не улыбка, то пол-улыбки: впервые за весь разговор. Стрепетов разливает коньяк. Стрепетов берет рюмку, а Михайлов смотрит и ви-

дит, как его тонкие, изящные руки словно напоказ замирают на секунду на темно-вишневой поверхности стола. «У моих такие же руки», – отмечает Михайлов. И вдруг говорит: – Я хотел бы, чтобы мои дети были хорошие математики. И чтобы вообще они были похожи на тебя.

– Ты это без иронии?

– Без. Даю слово.

– Мужчины такими комплиментами редко разбрасываются.

Они замолкают, и на этот раз молчание как итоговая черта, как точка в долгом их торге.

– Ладно, – говорит Михайлов (и вдруг вздыхает). – Давай допьем. Аля все равно не любит крепкое.

– Ну, разумеется, не любит – я же тебе сразу сказал.

– Давай.

– Давай.

Михайлов спохватывается:

– Время!

– Что?

Михайлов поднимает со стула свое тяжелое тело, сделав два звучных шага, от которых запели стекла в книжном шкафу, включает. По четвертой программе уже читают стихи: сначала это делает молоденький длинноволосый поэт. Потом выступает поэт военного поколения. Потом объявляют Алевтину – она на экране, она читает: «Люблю! И небо стало звездно. Люблю! И больше нет судьбы...» Дождавшаяся

своей минуты, она немедленно начинает завывать, а глаза ее привычно увлажняются. Но вот и ее голос уже не режет слух, завывание становится нормой и как бы обязательной условностью, а еще позднее Алевтина полностью отдается стиху и чтению, и теперь голос завораживает. Она хорошо читает. Она читает о любви – о том, что любовь сильнее жизни и даже вперед жизни, такой образ: когда-то не было на земле живых, не было растений и одноклеточных, только камни, но уже тогда в неоплодотворенном и безликом кислородном пространстве жила любовь – такой образ, – прыгала зайчиком среди первородных скал и голых глыб. Алевтина понимает, что сейчас ее видят. Она понимает, что сейчас ее слушают. Она понимает, что сейчас ее любят. Это приводит к новому выбросу и выхлопу энергии, и Алевтина с мокрыми глазами, ликуя, приступает к едва ли не лучшему своему стиху – он тоже о любви.

* * *

Сообщить ей эту хронологическую подробность («Сегодня последний вечер, любимая!») Михайлов никак не может. Слова, конечно, подготовлены; язык, конечно, не поворачивается. Однако деться ему некуда, и сейчас он эти слова скажет.

– Михайлов. Ну, Михайлов! Ну чего ты такой скучный!
Она теребит:

– Ну не будь скучным. Не будь старым. Не будь занудой. Ну выпьешь, может быть, рюмочку?..

Алевтина захлеб рассказывает – неделя прошла, только неделя, а уже отклики на ее выступление по телевидению, письма пишут («И какие письма. Какой наив, но, однако, какая, Михайлов, чистота – знаешь ли, что такое письма простых людей!») – она захлеб радуется, а Михайлов вставляет незначащие слова и думает, что надо бы этот ее бурный восторг пресечь, хотя бы в качестве *первого* жесткого хода.

Но тут звонит телефон, и почти с той же пылкостью и страстью (обожает телефон) Алевтина бросается к аппарату, и у Михайлова нет теперь жесткого первого хода, однако есть миг подумать. Не больше чем миг, но Михайлов успевает. И когда Алевтина от аппарата (прикрыв трубку) сообщает полупшепотом:

– Баскетболист звонит. С женой. Напрашиваются в гости.

Он кивает:

– Зови.

– Зачем?..

Алевтина продолжает говорить в трубку, а Михайлов погружается в не слишком блестящую новизной мысль о том, что уйти – это уйти, а уйти вместе с кем-то или с помощью кого-то во всех случаях жизни легче и проще. И очень может быть, что удастся обидеться на этого болтуна баскетболиста: тот обязательно пройдетя раз-другой, например, насчет его, михайловской, мебели. Изобразить, сочинить обиду и уйти

и, может быть, хлопнуть, и это бы совсем хорошо, то есть хлопнуть дверью, а дальше уже по телефону и с расстояния; дальше уже проще. Или сама же Алевтина подставится под удар, не такое или не так ввернет словцо (на людях она не прочь подтрунить над Михайловым), или же жена баскетболиста, тоже баба языкастая и тоже с прицелом, Михайлов не знает, как случится его обида и его уход, но он точно знает, что в одиночестве ему проделать все это тяжелей.

– ...Чего же ты молчишь?

– А? – он откликается; он словно из другой комнаты.

– Ты, милый, сегодня на редкость говорлив.

– Угу.

Вот так он и молчит. Нервничает.

– Когда они придут? – спрашивает он.

– А они не придут, – смеется Алевтина. – Ну их. Зануды они. Я сказала, что занята.

Она смеется, у нас, дескать, теперь весь вечер и ночь: мы, дескать, вдвоем, милый, и ждать некого, и можно посидеть вразвалочку. Михайлов спешно кивает – да, дескать, вечер; да, ночь; да, вдвоем. Он боится ее интуиции, боится женской и тонкой ошупи, если она угадает прежде, чем он скажет, тогда ему уже не сказать, не суметь.

– Да, вдвоем будет лучше, – подхватывает он. – Конечно, лучше.

Поощряемая мягкими его словами, Алевтина не угадывает. Более того, она начинает вдруг спешить – она запускает

ет (как всегда) негромкую музыку, гасит лампы, кроме одной, все это стремительно, быстро, и, хохотнув, скрывается в ванной, оставляя Михайлова один на один с надвигающимся фактом. Он слышит плеск воды. Даже этот плеск сегодня напорист и тороплив. Михайлов сидит в полумраке и в приглушенной музыке, совершенно одетый и совершенно неспособный сдвинуться с мертвой точки. Алевтина сидит уже рядом с ним, она в ночной рубашке, возбуждена, глаза как большие черные вишни.

– Ты что? Решил спать в пиджаке? Может, у тебя фурункулы? – Она смеется.

Он молчит.

– А ну марш в ванную!.. Михайлов!

Она не понимает и вновь не угадывает – да и как угадать? – она целует его; груди под рубашкой ходят; с головы, с коротко стриженных волос каплет вода, Алевтина шепчет:

– Знаешь, а я сегодня очень настроена. Мне кажется, у меня с юности такого не было – ужасно тебя люблю...

И еще шепчет:

– А ты не настроен? Не очень?

Лукавить Михайлову не приходится, тут уж совершеннейшее совпадение того, что думает, и того, что говорит, – да, сообщает он ровным голосом, не очень. Может быть, устал. Может быть, измотан.

– Старенький становишься? – ласково подсмеивается она.

– Может быть, старенький.

Алевтина легко стаскивает с него пиджак, отпустила ему и его усталости ровно одну тихую минуту и опять торопится («А славные я получила сегодня письма – правда?»), распахивает ворот, стаскивает ему рубашку рывком через голову («Ну милый, ну не снимать же мне с тебя брюки – для этого, как я догадываюсь, придется содрать с тебя ботинки!»), и вот Михайлов, не то подталкиваемый, не то упрасиваемый, уже стоит в ванной, под душем, и сверху льется вода, пожалуй, даже холодная. Ладно. Последняя ночь. И Михайлов ловит себя на том, что не станет он сейчас регулировать воду, какая есть.

Они лежат в постели, и она шепчет:

– Только не сразу, ладно? Хочется поболтать. – И Михайлов тоже, в согласии с ней, испытывает после душа желание не двигаться, и отяжелеть, и застыть в неподвижности.

Она продолжает. Она шепчет:

– ...Только не думай, что я спятила от стихов и от писем на телевидение – есть немножко, не без того, – но, в общем, плевать, главное, мне с тобой хорошо.

Она вдруг плачет:

– У меня никого нет, кроме тебя.

Михайлов привык к ее преувеличениям, и все же его мало-помалу забирает и греет. Однако, уравнивая ее красивые слова, он видит себя сейчас со стороны в этой любовной полутьме. Большой и грузный и вмявшийся телом в постель человек; руки этого человека лежат (покоятся) на вме-

ститильном животе; лицо с жесткими, практическими, интендантскими складками; и завершают вид свалывшиеся от шапки и дневного гона волосы. Это сделалось и произошло с когда-то худеньким и малокровным мальчуганом, который скудно ел и мечтой которого было иметь салазки на железной основе. Детство всколыхнуло. Михайлов вдруг пугается мысли, что любит Алевтину и что никого, пожалуй, кроме нее, не любил, а жизнь была долгой.

– Не плачь, – говорит он.

– Нельзя и поплакать? – откликается Алевтина неожиданно весело и откуда-то сбоку; и только теперь оно начинается, и тянется, и продолжается; потом Алевтина ставит обязательную точку: целует его. Благодарность.

Она садится. Она привычно попадает ногами в шлепанцы и расслабленно, как бы неторопливо гуляя по лесу, идет на кухню и ставит там кофе. Шумит газ. Голос Алевтины доносится, слегка искаженный ночью, и расстоянием, и долгим до этого шептаньем: «Есть еще яблоки – захватить?» – «Ага». Он лежит и обводит глазами темные стены. Ночничок давно погашен. Он обводит глазами и умышленно, пробуя, как это будет звучать в прошедшем времени, произносит: «Здесь жила моя баба», – он хочет зачерпнуть в этих жестких словах смелости, но тут же и разом немеет и отступает перед надвигающейся болью и правдой.

Они осторожно двигают чашками в темноте, отстраняя и вновь поднося ко рту.

– Замечательно, что мы вместе (она делает глоток), мне кажется, что мы уже сто лет вместе.

И еще говорит (глоток, глоток, глоток):

– Сначала думала: ну мужик, ну симпатичный, однако пора ему в отставку.

И еще:

– ...Потому что не люблю привязанности – муженек мой из меня столько выцедил крови, что я уже не способна жить бок о бок и вот хотела тебя в отставку, помнишь?

– Помню.

– Совсем было решилась. А потом как-то вдруг оказалось, что ты вернулся. Смешно?

Она говорит. Она не умолкает. Ласковая:

– Мне ведь много не нужно. Мне ведь больше никто не нужен.

– Да, – говорит он.

– Будут идти годы, зима за зимой, лето за летом – мы будем потихоньку стареть, верно?

Отчетливо понимая, что здесь некстати, и грубо, и отчасти даже неправда, он говорит:

– Очень уж со многими ты спала.

– Я?

– Не я же. – Он говорит и удивляется своим словам: заготовленные, они все же нашли себе место и высунулись. Очередным словам он уже не удивляется, тоже запрограммированные, слова идут вслед: – Где у тебя валяются мои бумажки? С утра могу их забыть...

– Что?

– Бумаги.

Он встает. Он босо, и решительно, и *значуще* шлепает к ее столику. И задевает в темноте стул. И чертыхается. И топчется у столика (ищет квитанции и накладные заказчиков – однажды он случайно оставил их у Алевтины, и, конечно, надо взять их сейчас). Он находит. Он знает квартиру наизусть. Он прячет бумаги в пасть портфеля, достаточно долго и грубо гремя ими в ночной тиши, как гремят жестью.

Он ложится. Он готов к объяснению и ждет, что теперь будет, а не будет ничего.

– Ты что, спятил? – спрашивает она. И тут же приглаживает ему волосы на голове, как приглаживают бесценному и любимому. Так и именно так, и непеременившееся время продолжает вязать на своих вечных спицах. Михайлов сник. И постепенно уже входит в сонный ритм сердце, а Алевтина наклонилась над ним. И шепчет:

– Милый ты мой. Ревнуешь? Вот глупенький...

Он прикрывает глаза, ее не проймешь. Она как бы нависла над ним – гладит ему виски и откуда-то сверху шепчет:

«Будут идти годы, зима за зимой – особенно рада тебе зимой, почему бы это, будут идти годы, а мы будем стареть».

Он не знает, спал ли, – надо полагать, час-полтора спал. За окном серенькая рань. Зари нет.

* * *

Он встает. «Спи», – говорит он Алевтине, когда она некоторым движением тела и еле уловимым беспокойством спящего человека, не открывая глаз, спрашивает, как и что теперь, когда придешь, милый?.. Он не отвечает на это. Он говорит:

– Спи. Я себе сам все сделаю. Тебе-то чего вставать.

Он вяло завтракает. Он сонный, он разбитый, и он ничего не сказал Алевтине.

Он возвращается в комнату, чтобы взять портфель и прихватить сигареты, – закуривает, однако не уходит сразу (зов комнаты) и задерживается у окна. Спиной он чувствует, что Алевтина смотрит на него: одеяло натянуто до подбородка, до самых губ, но глаза ее, хотя и сонно, смотрят. Что-то ее, видимо, кольнуло; что-то докатилось до нее и доползло, как исподволь докатывается и доползает до спящего человека итог прошедших полутора лет... Смотрит. И пусть.

Михайлов тоже смотрит – в окно. Докуривает. Он смотрит с некой внезапностью чувства – поле, и овраг, и два журавля строительных кранов, и незаконченный фундамент дома, –

он смотрит сейчас, как смотрят в день скорого отъезда, стараясь вобрать в себя и втиснуть эту землю, на которую едва ли когда-нибудь ступишь и вернешься, потому что жизнь коротка, а заботы, и поток жизни, и вагоны метро покачивают и несут тебя, как щепку. Михайлов оделся. Вышел. Ровное гудение лифта (он утопил кнопку, и потекло, поехало) напоминает Михайлову, что, так ли, не так ли, жизнь продолжается.

Раза три или четыре телефонный звонок, но это уже как бы не Алевтина, а некое промежуточное звено для стирания в памяти:

– Не могу, занят, очень занят.

– Не можешь или не хочешь? – плачет и, конечно, устраивает ему телефонную истерику или вдруг называет его старым жирным боровом, который ей осточертел. Уколоть и задеть: иногда такое помогает, и человек в ярости или в обиде является к бывшей подруге, чтобы ответить или оправдаться, не сознавая, что, если он пришел, значит, пришел. Но Михайлов не приходит.

Пауза. Затем новые три или четыре звонка, но он начеку – трубку берет Вера Емельяновна и с полупрофессиональной ядовитостью отвечает товарищу Алевтине Нестеровой, что Михайлова нет (первый звонок), что Михайлов на выезде (второй звонок) и что Михайлов в цехе – не передать ли чего, *если это по делу?*.. Звонки прекращаются. Это конец. Михайлов знает или догадывается, что Аля отступилась, привыкая и привязываясь сейчас к Стрепетову, как привыкала и привязывалась когда-то к нему. Конец. Алевтина еще некоторое время возникает в его ежедневных мыслях (по инерции и по необходимости быть начеку), а затем ее лицо, и ее облик, и образ в целом передвигаются за линию горизонта и

уходят в то, что называется по-разному, но чаще всего прошлым. И уже там, в прошлом, занимают свое уяснившееся место.

В один из тех дней происходит ожидаемый и потому краткий телефонный разговор со Стрепетовым – они согласовывают, когда и где: уроки со старшим сыном начнутся на этой неделе, да, Юрий?

– Я, Юрий, справки навел. Поскольку ты доктор наук, будешь платить тебе пять рублей в час. Стало быть, десять за занятие...

– Как – ты собираешься еще и деньги платить? – В голосе Стрепетова и улыбка, и ирония.

– Конечно, Юрий. Обязательно.

– Ну-ну.

Переговорив, Михайлов кладет трубку и закуривает – он думает о том, что доктору наук Стрепетову надо будет платить аккуратнейшим образом. У отношений должен быть свой четкий стиль. Время (а оно будет идти и идти) размывает слова; время размывает и слова, и разговоры, как и положено их размывать, но не размывает лишние сто или почти сто рублей в месяц.

– До свиданья, – говорит Михайлов приемщице.

– До свиданья, Павел Васильевич.

Михайлов возвращается домой.

– Иди-ка сюда, – зовет он. И вот обычным и ровным голосом он объясняет старшему сыну, что, начиная с завтра,

старший будет заниматься с известным математиком Стрепетовым; если же сын не будет валять дурака и окажется не тупицей, то, поступив в университет, он, возможно, станет на долгие даже годы учеником этого блестящего ученого.

Семнадцатилетний мальчик смотрит робко и, пожалуй, напуганно.

– Ты будешь приезжать к нему домой по вторникам и четвергам к шести вечера.

– Ехать далеко, папа?

– Тебя это не должно волновать. Выучишь в метро лишнюю теорему.

Младший похрабрее. Он спрашивает:

– А я?

– С тобой он начнет заниматься через год. В десятом классе.

В конце разговора присутствует жена; она только что пришла из магазина:

– Математик он, возможно, хороший, а хороший ли он учитель?

– Что?

– Хороший ли он учитель?

– Можешь не сомневаться.

Жена кивает:

– Раз ты говоришь, я, конечно, не против... В неделю двадцать рублей? Это, стало быть, восемьдесят рублей в месяц.

– Это девяносто рублей в месяц.

Жена вновь согласно кивает. В месяце, конечно же, четыре с половиной недели. Жена относится к Михайлову чаще всего спокойно и согласно, с тем спокойствием и согласием, какое испытывают не слишком уверенные в себе женщины при виде (изо дня в день) мужа, поступки которого медлительно точны, и верны, и отцежены опытом, и хорошо оплачиваемы.

Этим же летом старший сын Михайлова легко и даже блестяще сдает вступительные в университет.

* * *

Самое неприятное для Михайлова в его работе – это ползать; вес и большой живот не дают ему присесть на корточки и тем более на корточках передвигаться.

В ход идут коленки (годы, разумеется, уводят нас от детства, но незримо и изошренными ходами опять же ведут к нему!). А для того чтобы передвигаться на четвереньках спокойно и не слишком униженно, Михайлов изгоняет из комнаты хозяев. Тут он принципиален и неумолим. («Люблю, извините, побыть один. Люблю обдумать. Вы мне мешаете». – «Нам уйти?» – «Да».) Клеенчатый сантиметр болтается у него на шее. Михайлов перемеривает углы, нишу, расстояние до радиатора отопления и толщ плинтусов. Время от времени Михайлов распрямляется и, стоя на коленях, записывает в книжицу цифры. Теперь черед объемов. Михай-

лов взмок, но не прерывает. Чтобы учесть высоту, он лезет на шаткую стремянку, стремянка скрипит под ним и попискивает...

– На минутку! – Михайлов зовет хозяев. Он оттирает пот.

Хозяева входят. Они возбуждены ожиданием и этим непереносимым состоянием вне игры (они-то предполагали, что будут всласть обсуждать и всласть советовать), и вот они входят. Отирая платком шею, Михайлов начинает излагать им свое – если они хотят белую стенку-шкаф *вплоть до балкона*, комната волей-неволей приобретает лицо, – значит, сюда же и белый столик, и хотя бы два светлых стула.

– Если вы так считаете... – Хозяйка доверительно улыбается.

Михайлов записывает.

Хозяйка льстит. Она в ярком добротном халате. Причесана. И брови подведены.

– Мы ведь как рассуждали: если уж Михайлов *сам* придет и *сам* посмотрит, все будет сделано и красиво, и быстро.

– И дешево? – грозно улыбается он.

– Нет-нет, мы понимаем, что недешево.

Хозяин тут же. Он басит:

– Нам так сказали – главное, положитесь на вкус и руки Михайлова.

Хозяйка с улыбкой подтверждает:

– Нам именно так и сказали.

Как правило и как это водится, следом за лестью единая,

сбалансированная душа хозяина и хозяйки жаждет усладиться собственной своей добротой. И чужим унижением. Они это умеют. Они это считают обязательным – значит, на *кухню*, – и чем дольше и упорнее ты сопротивляешься, тем усиленнее и, как им думается, искреннее становится их нажим. Михайлов давно привык и потому не отказывается. Он уже много лет не морщится и не считает это за унижение, как не считает человек за унижение то, чего не миновать.

– Передохните, Павел Васильевич...

И опять насаждают:

– Нет, нет. Нужно прерваться. Вам просто необходимо прерваться. – Хозяин и хозяйка с улыбками обступают его. Хозяйка касается его пышным бюстом: шалунья.

Однако, чтобы поставить точку, Михайлову нужно еще спросить и записать:

– Вы не собираетесь в одно из гнезд стенки вмонтировать телевизор? (Они потом могут поднять вой, что у них не все как у Заруцких.)

– А вы как считаете?

– Если здесь детская, то не надо. Вы же захотите смотреть фигурное катание вечером.

– Да, да. Вы правы.

– Значит, решено – здесь детская?

– Да.

Михайлов записывает еще три-четыре конкретности, и они оба вновь обступают его и теперь уже прямым ходом

волокут туда. На кухню. Хозяин незамедлительно впадает в стереотип рубахи-парня (интеллигент, отнюдь не чуряющийся и демократичный) и широким вольным жестом обезглавливает беленькую. Закуска на месте. Михайлов тоже. Можно приступать. Михайлов несколько смущен: смешно сказать, но ему каждый раз кажется, что отказом он их не шутя обидит. Он бы давно спился, но более или менее следит за этим, и потому как закон – две-три рюмки, не больше. Сегодня еще один заказчик в Сокольниках и еще один возле вокзалов: Михайлов это помнит.

– А это правда – говорят, вы с высшим образованием? – интересуется хозяйка.

Кусок колбасы висит у него во рту. Михайлов кое-как сглатывает и кивает – правда. Теперь они, разумеется, спрашивают, какой вуз. Он отвечает коротко и однословно. Хозяин тем временем – а время движется, как надо, и рюмки тоже – расслабляется и начинает немного хамить, впрочем, неосознанно; сам он этого не понимает и полагает, что хвалит Михайлова.

– Вот как, – косит он глазом на жену, – надо работать. У человека есть профессия, *нужная* людям. А что твой муж – двести двадцать в месяц, и точка...

Он рассуждает. Он сидит холеный, и сытый, и ублаженный рюмкой, неторопящийся, а напротив – в потертом пижаке, в грязных брюках, потный, невыспавшийся, с серым и полумертвым лицом Михайлов, у которого, конечно же, как

им думается, куча шальных и легких денег. Ладно...

Возле дома, и это уже после Сокольников и после трех вокзалов, Михайлову делается плохо. Не в первый раз, а все же его пугает. Почему возле дома, почему всегда *они* кончаются возле дома – расслабленность, что ли, после пути, спад? – Михайлов медлительно обдумывает это и облизывает губы. Плохо, братец. Не дойдем, братец. Ну так доползем... Он сидит на ступеньках лестницы в подъезде своего дома, сползший вдруг вдоль стены и обмякший. Перила близко, а не дотянешься. Вот так... Он начинает медленно ползти по ступенькам. Он думает, не позвать ли кого, но вспоминает, что от него непременно пахнёт водкой, а это уже лишнее. Такие подробности дом-пятиэтажка узнаёт слишком быстро и необратимо: до детей тоже доходит. Ладно. Всего-то на третий этаж... Коленями и руками, работая поочередно, Михайлов перебирается еще на четыре ступеньки вверх. Самое неприятное для Михайлова – это ползать. Лестница. Еще малость, еще немного, говаривала безмужняя мать, когда она и маленький мальчик тянули в гору салазки на деревянном ходу с полмешком муки, и он ни разу не вспомнил матери, как она эту муку зарабатывала, выводя Пашеньку в люди. Ладно... Ну а теперь встать. Теперь отряхнуться. Он жмет кнопку звонка.

– Опять от тебя несет, Павел, – жена шепчет, она упрекает еле слышно, потому что поздно и дети уже легли.

– Тсс! – Михайлов протискивается в дверь, продолжая

обычное перешептывание в прихожей.

Где сходилось небо с холмами

1

Георгию Башилову хотелось домой; ему хотелось тишины и очень хотелось в свое кресло-качалку, и чтобы покачиваться и покачиваться в комнате, что звалась его кабинетом. Но были в гостях; окружающие вновь затягивали под хмельком песню, обычную, примитивно-грубую, давай, давай, когда хочется поорать, пошуметь, – и Башилов вновь начинал морщиться, кривиться, а после даже и обхватывал руками голову. (Не зажимал ли он уши, ушные раковины, дабы тонкий его слух не ранился пением случайных людей?) С падением роли кантилены в музыкальном тематизме развились, что и логично, многообразные формы *речевого начала* в музыке. А едва мелодика стала на грань меж выпеванием и выговариванием текста... – хватит, хватит насмешек, это уж, знаете, слишком!.. Однако нет: жена композитора объяснила, что Георгий Башилов вовсе не оскорбился их пением и не поранился, а, напротив, – чувствует себя виноватым. Да, да, представьте, композитор чувствует себя виноватым за то, что в поселке, откуда он родом, в некоем далеком поселке за тысячу километров отсюда, люди, то бишь его земляки, совсем не поют.

– ...Ему кажется, что он виновен. – Жена говорила, понизив голос.

– Но почему? – спрашивали гости шепотом. Некоторые продолжали орать песню.

– Не обращайтесь внимания. Прошу вас...

И оглядывались: он сидел за общим их столом, обхватив голову и впав в длительное молчание. Ему было сильно за пятьдесят. Еще полчаса назад он смеялся, шутил, был общителен и в беседе не лишен обаяния. Кто-то пощелкивал ногтем по полупустой бутылке. Окружающие отчасти полагали, что музыкант в гостях малость перепил: бывает же. И действительно, если Башилов выпивал, муки усиливались и лицо его поминутно кривилось, в то время как общий стол гудел и горланил веселые песни. Однажды он стал всхлипывать, и жена сразу увела его домой; он так именно и уходил, придерживаемый ею и обхвативший седовласую голову. Оказывается, он вовсе не зажимал уши. Когда он выпивал, ему казалось, что вина его перед поселком не только видна, но и огромна, и за вину свою он ждал некой кары, может быть, с неба, и потому как бы пытался прикрыть голову – от удара.

* * *

С одной стороны он, с другой – песенники, таков процесс, где и он и они – соучастники. «Но я хоть мучусь этим», –

повторял себе Башилов, загадывая, как однажды ночью прозвучит в тишине и в темноте высокий чистый голос ребенка. Тот поселок был совсем невелик, был весь доступен, и ничего не стоило обойти его кругом, особенно летом. Назначенный для нормального хода крекинг-процесса, а также для ликвидации случившихся пожаров, поселок, казалось, был мал. Первый, второй и третий – там было всего три дома, расположенных буквой П, при том что открытая часть П была обращена к видневшемуся на пригорке заводу. Если сравнивать, три дома были как бы ловушкой, и одновременно это было чуткое открытое ухо, вбирающее в себя шумы и звуки заводских неполадок: поселок был аварийный. С тыла трех домов располагались невысокие горы.

Небольшой городишко, не видный за горами, находился от поселка километрах в двадцати пяти – тридцати, так что его как бы и не было вовсе, – город был для маленького Башилова долгое время мифом, чем-то существующим и несуществующим, вроде географического юга или, скажем, запада. «Город?.. Где это?» – спрашивал Башилов-мальчик, и ему отвечали: «Там». И указывали в сторону невысоких гор.

Завод был в значительной степени автоматизирован, но старого образца, так что пожары случались и, более того, были предусмотрены. Обслуживали завод два десятка рабочих, техник и инженер, а также один аварийный техник и один аварийный инженер, – в силу малого числа людей и взаимозаменяемости все они, в сущности, были аварийщики. Жен-

щины работали тоже; с детьми и стариками в поселке жило около ста человек.

«Не породили горы, ой, не породили ж горы ничево-ооо...» – поселковая жизнь на отшибе определила, как водится, тягу к старинке, к былым денечкам и к замшелым уральским песням, от которых сильно пахло болезнями, рудниками и чутким, если не волчьим, трудом искателя, а часто и прямым разбоем. И пили, и пели аварийщики за длинными столами, и, конечно, детство окрасило и сделало их в глазах мальчика великанами, громадными людьми, хотя были они, надо думать, обычны и плохонько одеты, в маслах и в саже, беспрерывно курящие и плюющие заводской копотью, набившейся в легкие за вахту. Башилов был мал, а они были огромны. Огромны были и горы, и дома. *Междомьем* звалась внутренняя часть П, всегда солнечная и жаркая, но клены давали тень, и там-то, в тени, вкопанные в землю, стояли три общих длинных стола и к ним скамьи.

Два городских учителя, приехавшие в поселок на месяц-другой, учили сразу всем предметам: «Перепиши, мальчик, это...» – а другому и третьему: «Прочитай, мальчик, это...» – отчеркивая от и до, так что Башилов и сейчас помнил ногти своих наставников, здоровенный, как лопата, ноготь мужчины и тоненький, изящный, с какой-то молочной подсветкой изнутри ноготь женщины. Разнокалиберным поселковским детям втолковывали вопросы второго класса, а тут же вдруг пятого, третьего и даже седьмого. Но учение не

было самым худшим. К тому же в детях было довольно упорства, а Башилов был сиротой, что придавало его упорству оттенок особый, – да, отец и мать сгорели в одной из аварий, когда ему было лет восемь, да, восемь лет, а жил он у дядьки, где кормили, поили и одевали, да, да, у дядьки его кормили, поили, и одевали, и еще платили за него в музыкальную школу в их городишке – всё так. Однако же едва он разорвал тихое кольцо Уральских гор, это тихое, мягкорукое на горле и по-своему нежное, едва уехал в столицу и стал учиться на стипендию, пусть крохотную, он от их помощи отказался. Он не хотел. Он уже не брал от них ни копейки. Дядька к тому времени тоже сгорел, а всем прочим поселковским, кто интересовался его судьбой, в редких письмах он каждый раз отвечал просто и твердо, что он при деньгах, так как в музыкальном училище получает *стипендию*, он повторял нажимное слово, пока слово не сработало и не убедило, а письма не иссякли.

Его ровесник Генка Кошелев тоже брался в расчет. Генка Кошелев всегда был шалопай при родителях, и никто не должен был его с Башиловым сравнивать. Песенный заряд поселка казался велик, но только двое их и стали музыкантами. Да и хотел ли поселок их отпускать? Двое были не как уехавшие, они были как вырвавшиеся. И в вагоне поезда он не ощутил отсутствия пения. Он ощутил тишину. А стук колес оставался ритмом.

Схожим оставался в памяти звук ножей, ритмичный звук-

скрежет, когда женщины скоблили общие три стола, когда поливали водой из медной полуведерной кружки и когда по столу бежали ручьи, а Башилов был слишком мал. Он тянулся, но не дотягивался до поверхности стола и не видел стреловидный мощный разлив этих ручьев по столу вширь. Он видел лишь струйки внизу, как они падают: бегут и падают со стола в пыль. «Жи-жисть! Жи-жисть!» – тетка Алина, поставив нож ребром и прижав двумя руками, скребла доску за доской, пока стол не станет для поминок чист и бел. Стол не покрывали скатерками. Башилов-мальчик тоже будет сидеть за этим столом: его окликнут – его и Генку Кошелева, всегда обязательных и званых, и к ним еще двоих, чтобы детские их голоса вплетались во взрослое пение.

У поющего – дело; и может быть, из детского профессионализма он не убежал в горы, не прятался там и не скрывался весь день и всю ночь, как бывало с детьми: он знал, что поминки и что надо петь. Гибель отца и матери была сама по себе и была тонкой чертой отделена от поминок, хотя это были их поминки, поминки по ним. Он не затаил чистый ангельский голосок. Когда было много выпито и много съедено, огромные аварийщики грянули любимые песни отца, и он вел и вел их чистым своим голоском: он не медлил и не торопился более обычного, вел ровно и, лишь задержавшийся на высокой, недоступной взрослым ноте, ждал помощи вторых теноров и подхвата. Или вдруг оглядывался: не забыли ли?.. Сейчас ведь дадут ему гармонику и, если

удастся играть хорошо, станут плакать. Они были *слезливы на песню*, что не считалось удивительным для аварийщиков с их ослабевшими от дыма и химии слезными железами.

В тот день к вечеру поднялся ветер, небольшой, порывистый, и над заставленными снедью столами закачался фонарь. Качающийся свет набегал на ту скамью, где сидели Кошелевы и Короли, а за ними обе Грунины – Василиса-старая и Василиса-молодая. Водка стояла там в светлых бутылках. И рядом тарелка, где красные огромные шары соленых помидоров. Картошка дымилась горой, горой же были насыпаны крутые яйца.

Вспоминали отца, но особенно шумно спорили о матери – о том, какими могли быть последние ее слова.

Отец сразу и умер, обгорев, а мать, оказывается, еще дышала. Когда ее отвезли в город, в больницу, она вдруг пришла в себя и, возбужденная, стала быстро-быстро говорить. Разобрали лишь то, что она просила, посылала за родней, – тогда же и помчались назад в поселок за ее братом, но пока он, дядька маленького Башилова, приехал, мать скончалась. «Что? Что вы хотите сказать? Говорите, говорите!» – торопил врач, но мать, стиснув зубы, ждала человека из рода, хорошего ли, плохого ли, но родного, не говорила своих слов ни врачу, ни окружающим.

– Теперь можно только гадать!.. И вот гадаем. – Сергей Федорович Король горестно чокался и целовался с бабкой Дарьей. Тут все они шумно чокались, после чего тянулись,

чтобы поцеловать маленького Жорку Башилова, а ему был противен их запах, послепожарный запах завода, каким пахли все, особенно обожженные. Так же, конечно, пахли его мать и отец, он знал, хотя и не дали подойти к ним близко.

Завод был невысок. Он был плоско разбросан в начинавшейся здесь степи, и в плоской его неподвижности бросалось в глаза лишь подвижное и живое: восходящие клубы дыма. Солнце сияло, на столах под кленами еда, а мамку и папку похоронили – надо играть. И раннее утро, вокруг пьют и поют – надо играть. Мальчик свесил на гармонику голову, а люди, вдруг заговорившие разом, обожженные, пьяненькие, объясняли ему, что никто и никогда так замечательно не играл, как он. Они объясняли, что игры своей он и сам не знает, они целовали его, тискали, а если поднять глаза – над плоским заводом стелились живые красные клубы дыма.

В непогоду или, скажем, холодной осенью, а также зимой аварийщики сидели у Ереминых, что жили шумно, неприхотливо и в комнатах без перегородок, отчего там просто и быстро составлялись столы взамен тех, что на улице. Если Башилов вместе с поющими мальчиками сидел лицом к ряду окон, то и отсюда были видны шевелящиеся клубы дыма. Один раз на поминках он видел все еще не унявшийся пожар. Дым был черный, дым стелился. Сложная трансформация фольклорных элементов начиналась уже тогда, а дальше сработало время: настойчивые межжанровые вплетения сами собой определили синтез с выразительными средствами

современной ему МУЗЫКИ...

2

В последние годы, говорила жена, он стал похож на человека с причудами, да, да, и возраст тоже, да, да, особенно когда перевалило за пятьдесят и когда кресло-качалка стало любимым местом сочинения музыки. Если под окнами пьяные вдруг орали песню и если хотя бы один из них был *с голосом*, Башилов кидался к окну, распахивал, слушал дурацкое пенье – и взвинчивался. Он менялся, как меняется вдруг погода. Пьяные уходили своей веселой дорогой, а композитор уже весь день нервничал и совершенно не мог работать: ни сочинять, ни даже слушать музыку. «Они не поют... Они не поют даже на поминках», – повторял, бормотал Башилов самому себе. Если же родные, сын, скажем, пытались с ним заговорить, он огрызался, вдруг на них кричал, хрипел, а потом запирался в свою комнату, в кабинет. Он садился в кресло, но не качался. Он мог сидеть так очень долго, обхватив голову руками как бы в страшном горе, как бы в беде. Иногда, по счастью редко, он уносил с собой в комнату бутылку водки и там, мрачный, пил. Иногда же родные слышали, как после водки или, может быть, *среди* водки он плакал.

Жена рассказывала, что весь такой день уже был отмеченным, а среди ночи Башилов непременно подходил к ней, лежащей в постели, прижимался головой и говорил, шептал:

– Ты ведь знаешь, я виноват перед своим поселком, я ви-

новат.

– Знаю, милый...

И жена ласково гладила его по голове. Она его успокаивала: напоминала о музыке. Ведь плач ушел из поминок, но остался в его виолончельных сонатах. Плачевое качание мелодической линии всегда было его сильным местом, не только же он давал музыке – музыка давала ему.

Аварийщики пели не только на поминках – они пели и при рождении ребенка, пели на редких своих свадьбах, пели на праздниках, пели по воскресеньям и пели просто так, от скуки, долгими вечерами. Это верно, что вечерами и от скуки пели, как правило, женщины; у них не было такой уж нужды в его ангельском голоске. Но ведь когда Башилову-мальчику было три года и когда под скоблеными столами он ходил пешком в самом прямом смысле, аварийщики пели, в нем тоже ничуть не нуждаясь. Они пели и прежде, вовсе не зная о нем, когда мальчику было два и когда был один год. И когда его не было совсем, они пели.

Голоса в поселке были замечательные; и единственный, кого Бог заметно обошел, был дурачок Васик – антипод маленького Георгия, чей голос сравнительно с поселковскими был слишком хорош. Приблудный и никому здесь не родной, Васик жил у Груниных; его там жалели, кормили, поили, и жил он при поселке как птица небесная, неработающий, оберегаемый и счастливый человек. Единственное, в чем ему отказывали, – в пенье. И оттого, что в поселке у

всякого встречного был голос, больший или меньший, едва аварийщики запевали, несчастный Васик тотчас испытывал муку. Шаг за шагом он подходил к поющим все ближе. Мало-помалу пенье очаровывало, душа разрывалась, и вот он открывал рот, но тут же закрывал: знал, что петь безголосому нельзя, не велено. И не столько мучимый, может быть, желанием петь, сколько желанием быть, как все, и соединиться со всеми, Васик подходил наконец совсем близко; с протяжным своим мычаньем, с грубыми, утробными звуками он вдруг подскакивал к столам под кленами, где сначала поющие грозили ему пальцем, а затем кулаком: «Заткнись!.. Эй, да гоните же его – раз молчать не может!»

Его отгоняли, а маленький Башилов пел и пел, набирая голосом силу, – глаза его были раскрыты широко, ясно; пения не прерывающий, он вновь видел всю последовательность перемещений, в начале которых Васик приближался тихими шагами, затем приостанавливался поодаль, а затем, подкравшись, пытался немо, беззвучно петь. Он только открывал рот. Но от внутренних сил сдерживания и торможения руки Васи́ка начинали дергаться, выворачиваться в ладонях, гнуться, затем тик перебрасывало выше, на лицо, – по лицу проносилась целая гамма трепета, мелких судорог, гримас. Немая душа, имея чем поделиться, не имела способа передать. А Башилов-мальчик пел, он пел, как и все в поселке, о дурачке не думая. Когда же в дождь или в холода сидели у Ереминых, мычащего Васи́ка с первого же раза прогоняли

совсем и больше уж в дверь не пускали.

Голос мальчика звучал чисто и неколеблемо, а если кто-то подходил ближе или кто-то уходил, это не имело значения. Пенье лилось легко и естественно, как будто мальчик просто дышал. Он мог при этом улыбаться или даже прозаически почесываться, лицо оставалось ясным, и голос звучал чисто. Позже, войдя в современную музыку, он стал сложен и скрыт за зрелостью выучки, но в детстве естественность оставалась самой видной, если не самой сильной стороной его музыкальности. Если он долго играл на гармонике, казалось обычным, что люди приходят есть и пить водку, уходят, а потом приходят вновь, садятся около и, оттаяв, плачут; дело было не только в их разрушенных слезных железах.

* * *

Они возили его в город и платили в музыкальную школу, а когда дядька сгорел, они же собрали ему деньги для поездки в Москву, в музыкальное училище, и Ахтынский, первый силач, красавец и прекрасный низкий голос, повез мальчика в столицу. Петь Ахтынский начинал всегда низко-низко, издали: *Ночь наша на улице те-те-оом-ная...* – ведущий и признанный в распеве, он задышался на верхах, зато был раскован, смел в вариациях. Он был из незримых создателей песни: из безымянных. Физически очень сильный человек, он не все умел, не все в быту удавалось, и потому в поезде

он много говорил и учил подростка Георгия жизни: он учил *московской* жизни, которой не знал. Он вез с собой сколько-то поселковских денег, чтобы сберечь и дать их Георгию впрок, когда придется снять для него угол у какой-нибудь зажившейся, дряхлой бабки. Ахтынский не знал, что при училищах есть общежитие для иногородних; общежитие оказалось для него неожиданной и большой радостью.

Он вез подростка в купейном вагоне, чтобы можно было не озираться и спокойно говорить о жизни: «В Москве, Георгий, нищают и разоряются в основном на мелочах: на газированной воде, на мороженом. Человек никак не может себе отказать, и вот денежки текут и текут. Не позволяй себе этой слабинки – смотри!» Ахтынский на станциях из вагона не выходил и традиционно боялся, что в пути их куда-нибудь втянут и облапошат. Он наотрез, вызывающе отказался сесть за карты с вполне мирными пассажирами, которые и играли-то не на деньги.

В Москве Ахтынского потрясло пиво; не мог он прийти в себя от его вкуса и особенного, мягкого хмеля, тем не менее больше одной кружки сразу он тоже позволить себе в пивной никак не мог. Вскрикивая от восхищения, он уверял: «Ты, Георгий, вырастешь и поймешь! Ты поймешь, ты пиво оценишь, гадать не надо, обязательно оценишь!..» – а Георгий его поддерживал плохо и в пиве не понимал: молодой! Срывы на вступительных шли у Георгия один за одним, но выручал слух, выручала музыкальность и еще то, что экзаменато-

ры были не прочь взять человека из той глубинки, о какой и не слышали. Он сдавал экзамены долго, упорно, цепко, и все эти дни Ахтынский восхищался его баллами, а также пивом, которое пил в ближайшей пивной. Пивная была с музыкой, с автоматом, из первых, автомат играл вальсы, что тоже Ахтынского восхищало.

Узнав, что общежитие дается не только на время экзаменов, но и на весь срок учебы, Ахтынский понял, что дело сделано и что гора с плеч, после чего и загулял на излишки денег. Он не вылезал из пивной с музыкой трое суток кряду, а когда вылез, оказался безголосым. Лицо у него было сильно удивленное. Он разводил руками. Он стал сипеть, к тому же стал заметно гундосить и очень надеялся, что это пройдет.

Через год-полтора в вялом письме, в одном из писем *оттуда*, сквозь просеянные временем поселковские события к Георгию дошла, пробиваясь, весть и об Ахтынском: оказался, силач навсегда потерял свой голос. То был чистый низкий голос, с чарующей кантиленой, наводивший на слушателя мысли о неменяющихся временах, о мерцании золотой утвари и о рослых непьющих дьяконах. Прочесть было горько, но Георгий жил уже своей жизнью, далекой от них, новой. Он принял известие близко к сердцу лишь как память, как укол детства, от которого, хоть и невеликая, возникает боль. Боль удержалась. Двумя днями позже старенький преподаватель сольфеджио спросил: «Что ты загрустил, Георгий?» – и подросток, выйдя из задумчивости, рассказал несколь-

ко сбивчиво об осипшем земляке. Старичок слушал и кивал маленькой мудрой головкой. Старичок заметил:

– Это печально, что за все надо платить.

– Да, – поддакнул Георгий.

– Он привез тебя, устроил, помог – и, в сущности, заплатил своим голосом. Это печально.

Слова показались самолюбивому подростку не вполне дружелюбными. Слова и удивили, и задели, так как, поддакивая, он ожидал к своей грусти лишь слов сочувствия. Георгий даже и засмеялся, после чего, не мешкая, молодо и быстро ответил, что счет неточен и что Ахтынский ведь заплатил своим голосом не только за его устройство в столице, но и за пиво – за «Жигулевское», кажется.

Старичок сольфеджист тронул его за плечо:

– В тебе прорезывается язвительность, Георгий.

И молодой Башилов тут же смутился: разве он язвил?..

А старичок продолжал философствовать:

– ...Можно видеть, можно не видеть. Но если обобщать – это ведь поселок заплатил его замечательным голосом за твое образование. За тебя. Они заплатили, сами того не зная. Вот что печально.

Так к Башилову пришла та мысль впервые. Она пришла вроде бы надуманной и совсем случайной – разговор был как разговор, а слова о незримой связи с поселком казались лишь философствованием, причудливым выпадом старенького болтливового сольфеджиста. Минута, впрочем, была за-

помнившаяся, – на выходе из класса Башилов стоял с нотами в руках, отчасти той мыслью смущенный, но, в общем, легкий, улыбающийся, молодой, а старичок чего-то там разглагольствовал: слушать старичка было нужно, но вникать необязательно.

– Да, – говорил молодой Башилов. – Да, да. Как интересно подмечено.

* * *

В первый раз Башилов вернулся в поселок, когда ему исполнилось двадцать два года; пока молодой музыкант учился, желания навестить и глянуть не возникало; бывало, конечно, что он тосковал, однако же тоска не доходила до той степени, чтобы подойти к кассе и купить на поезд билет. Но вот он поехал, что объяснялось, возможно, душевным равновесием после окончания консерватории. Столбы мелькали. Стук колес пьянил. (Консерватория не далась ему просто, и в середине учебного процесса он перешел, к счастью, достаточно гибко, с фортепианного отделения на отделение композиции: произошло самоопределение. Зато теперь композитор Георгий Башилов уже не колебался в своей однозначно нацеленной жизни.)

Он был одет вполне скромно: ничего бросающегося в глаза, ничего бьющего. Был чемодан. Был серый ладный костюм и обычные московские полуботинки тех лет. Он был

без шляпы и без кепки, с непокрытой головой, он щурился – стояла жара.

Не без волнения подошел он к трем домикам буквой П – сердце затукало, и Башилов даже споткнулся, когда проходил в междомье к дощатым столам, где под кленами как раз сидели старухи и пили чай. Чайник старухи заварили липой; стоял запах. Первым поздоровался кто-то из Ереминых, шумный, веселый, и вот люди подходили, люди узнавали, и Башилов здоровался-здоровался-здоровался, а они знай били по плечу: молодец, Георгий, вспомнил, Георгий!.. Молодой композитор беспрестанно улыбался. Его зазывали к себе, звали и те, и другие, но на воздухе, за чаем с липой было шумнее, роднее, да и увидеть можно было сразу многих. Были и совсем незнакомые, – из окон второго этажа они, чужие, смотрели, как некий приезжий человек сидит в окружении старух и как один за одним с радостными возгласами приостанавливаются возле него проходящие люди.

Тогда-то, на вершине, можно сказать, его возвращения, на вершине и на самом пике его молодой улыбчивости и общего радушия, произошло нечто нелепое и тем более запомнившееся. Василиса-старая, по старости уже и сошедшая с ума, проходя мимо с тазом стираного белья, приостановилась в шаге от пьющих липовый чай и внимательно взгляделась. А запах липы кружил голову. Не сводя с Башилова глаз, она медленно и отдельно проговорила:

– У, пьявка... высосал из нас соки.

– Какие соки, бабушка? – спросил он с улыбкой. Спокойный, он спросил: какие соки? – уже вперед Василису прощая, так как сейчас в ней, очевидно, говорило старческое и неладное, что и положено прощать. Улыбающийся и еще более помягчевший, Башилов ожидал, что бабуля тоже смягчится и, быть может, как-то поправит свои слова.

Но бабка завопила во всю свою скрипучую глотку:

– Соки высосал! Души наши высосал!

И тут уж к ней пошли, метнулись другие старухи, чтобы успокоить: ее уговаривали, потом увели. А люди, конечно, подмигивали молодому Башилову, чтоб не обращал внимания, чего, мол, не бывает от долгих лет! Они улыбались, как улыбаются хорошему приезжему человеку, и опять подмигивали: спятила, мол, зажилась наша старушка, не дай бог столько прожить...

Уже и уведенная в первый из трех домов Василиса-старая где-то там, в гулком подъезде, вопила: «Высосал соки! Паразит!.. У него глаз черный!» Голоса там прокатывались, гудели, потом стали потише, а потом стихли, после чего старуху вновь вывели на белый свет, наконец успокоившуюся. Ее подвели к гостю, посадили на скамью совсем близко, и молодой композитор ласково ей сказал: «Это же я – не ругайтесь, бабушка». Она молчала. Башилов тронул пальцами ее коричневую высохшую руку. Перед древней старухой был вкопанный в землю древний дощатый стол, на который так удобно было выложить локти или даже навалиться грудью,

но клены стояли прямые, стол был прямой, и старуха, не опираясь, тоже сидела прямая. Липовый чай в ее чашке был как янтарный. Старухе объясняли про Башилова заново – это, мол, наш Георгий. Неужели не узнала?.. «Жорка?» Она и видела, и не видела. Она все вглядывалась подрагивающими глазами, мелко трясла головой, сидела прямо, а ее сын, сын Василисы-старой, уже и сам седой старик, говорил ей, подсказывал, помогал: «Ну скажи, скажи доброе слово парню – ишь напугалась как!»

Коснувшийся коричневой руки музыкант улыбнулся и простил, разумеется, старой ведьме пустые, не заслуженные им слова. Лишь за ужином, где хорошо покормили и где он хорошо выпил водки, среди общей разговорной суеты мелькнула вдруг быстрая, гибкая мысль: а так ли они пустые, ее слова, после чего был один шаг и до сути – а так ли они незаслуженные? Башилов растет год от году; а разве ячменный колос, возрастая, не истощает почву? – так подумалось, и красивое это сравнение, про колос, задело и зацепило молодой ум, который, как известно, излишне раним, а иногда и излишне совестлив. Разумеется, вспомнился и Ахтынский. Стоило словам старухи обрести какой-то смысл и хоть какую-то непустоту, как непустота означилась, а смысл тут же обрел острие. Но больно пока не было. Застолье шумело, и молодой человек мало-помалу отвлекся: его все больше волновало присутствие Галки Сизовой, той Галки, что помнилась девочкой, а теперь была молодой крепкой женщиной,

сияла глазами и пила водку. Она много смеялась, а он был в той самой поре, когда хватаются за всякое чувство жадно, радостно, с охотой: он только-только обнаружил, что любит женщин, всех, всяких, и что особенно ценит любовь в дороге, на случайном ночлеге, пусть даже совсем кратком. Одно вытеснило другое, и старух за столом Башилов не замечал. Мысль пришла – мысль ушла. Он чокался только с Галкой, она чокалась с ним, они смеялись, но потом Галка вдруг заторопилась домой. Она ушла, довольно выразительно и опять же со смехом пожелав *спокойной* ночи...

А он остался со старухами.

Ему постелили у Чукреевых; и, когда Башилов погасил свет – когда зажег, войдя, и погасил снова, – из четырех стен и из поселковской густой тишины возникла ставшая от времени чуть узкой спальня его детства. Он не спешил заснуть – лежал, улыбался. Он вспомнил, что он композитор. (А ведь, став пианистом, всегда бы чувствовал недостаток лет, отданных инструменту: сравнительно с другими он поздно начал.) Он улыбнулся... Весь пестрый день посещения родного места пронесся перед ним кинолентой, в самом конце которой, раз уж она пронеслась перед глазами вся, вновь мелькнула старуха с тряской головой и с злобным выкриком. Была тишина, были стены. Глухо забормотав, как бывает перед самым засыпанием, Башилов повернулся на другой бок и негромко ответил. Он ответил вроде бы старухе и вроде бы не старухе, а кому-то еще, третьему и стороннему, кто мог бы их рассу-

дить:

– Не вытягивал я соки...

Засыпая, он слышал через открытое окно редкие летние ночные звуки, а также цикад, которых помнил с детства. Был за окном и фонарь, что помнился с малых лет, – фонарь светил не меняясь.

3

Генка Кошелев был певец слабый, там и тут подрабатывающий, но своей полупьяной судьбой, впрочем, гордящийся, как это у совсем слабых подчас бывает; он-то и сосал из поселка соки, в том смысле, что тянул и тянул со своих родителей, с Кошелевых, деньги. Он тянул из них, когда учился, а когда учење закончилось, тянул по-прежнему, еще и поторапливал их в письмах. Он пил, что сильно увеличивало его запросы. Позже он понял, что пить вредно, однако же пил – и все с меньшей надеждой пробовал пробиться вокалом, ища удачи на эстрадных площадках города Пскова, куда его забросила судьба. Лишь в самый последний год у него, бросившего эстраду и теперь кочевавшего по ресторанам, деньги появились, и наконец-то у родителей он не просил. Дожили, слава богу. А спятившая, мол, Василиса-старая увязла в стершейся своей памяти и спутала его с Генкой – ей все едино, что и кому кричать.

«Ну ясно, ясно! Не придал я никакого значения! Ни малейшего!» Георгий даже и засмеялся, открыто и широко засмеялся, показывая, что не станет же он сводить счеты со старой бабкой. Он вновь пил с ними липовый чай. Он улыбался. Здесь, а не в другом каком месте убегал он в горы, и здесь, а не в другом месте его едва не убило молнией... Но чем больше Башилов отмахивался и чем старательнее ото-

двигал, тем цепче слова ее удерживались в памяти: конечно, спутала, однако ведь не только о деньгах она кричала. «Сокки вытянул наши! *песни* вытянул!..» – вот ведь что кричала старуха Генке Кошелеву, вот ведь что кричала она и ему, Башилову, пусть даже спутав, пусть случайно. Спятила, несла вздор, не кричала, а выла о «дурном, черном глазе», но ведь не все так просто, и ведь, помимо вздора и суеверных намеков, она кричала, каркала, что эти двое, вышедшие из поселка, уносят их песни и их музыку дальше и дальше – высасывают. Чем больше музыки уносили эти двое, тем меньше ее оставалось здесь, вот ведь что кричала старая ведьма, опять же напоминая о ячменном, о хлебном колосе, истощающем почву. И так ли уж случайно, что он, Башилов, вдруг засовестился, а засовестившийся, старался это скрыть, отчего утешения земляков не облегчали, а только ложились камнем. «Ну ясно, ясно. Не придаю я никакого значения, ни малейшего!.. И не сержусь я на нее!» Башилов даже и засмеялся, говоря с ними, широко засмеялся, открыто.

В середине жаркого дня он и Галка Сизова отправились к озерцу, что в трех километрах. Они скоро пришли. Тропа помнилась. И спуски помнились. Но если Галка каждую минуту казалась молодому композитору выросшей, озерцо казалось маленьким, мелким. «И горы стали меньше...» – сказал он Галке о своем наблюдении, а Галка в плане как бы всеобщего оскудения, хотя и вполне равнодушно, поддакнула: – Сейчас и поют меньше.

– Почему?

– Не знаю... Ахтынский с каких еще пор безголос, а дядя Петя сгорел. Женщины, правда, поют.

Галка сказала, что Василиса-старая ничуть никого не удивила, да ведь она частенько воет! С того дня, как уехали Башилов и Генка Кошелев, бабуля совсем свихнулась; выйдет на дорогу, сядет на обочине и вдруг как подхватится там в лунную ночь, воет и воет вслед уехавшим, ломает руки, иногда и догнать велит, а матюгается так, что проходящая с завода вахта оглядывается на сидящую и хохочет – мол, дает бабка!..

И Галка, поддразнивая, засмеялась:

– Нехорошие вы оба!

И еще засмеялась:

– Смотри: у бабки глаз черный!..

И сказала:

– Они стали меньше петь, еще когда ты на гармонике играл: ты так играл, что им петь не хотелось. («Ты разве не замечал?» – «Что?» – «Ты так играл, что петь не хотелось...»)

Башилов придвинулся к ней, меняя разговор: он обнимал, а Галка уворачивалась. И он, и она смеялись. Она была ладная, крепкая, вся начеку, если ее обнимали.

Когда вернулись, время оказалось послеобеденное, притихшее; Галка ушла; Башилов без цели бродил меж домов. Одинокий, он натыкался на воспоминания там и тут. Холмы (их линия) рождали смутное беспокойство, а когда он

отводил от холмов глаза, беспокойство только усиливалось. Услышав детские голоса, он втиснулся в красный уголок, тот самый гибрид школы и детского сада, где обучался и где сейчас по случаю лета сидели лишь малыши – бросали кубики. Тишина. Грубо сколоченные школьные парты пустовали. Башилов сел за одну из них – за ту, где он решал задачку про пункт А и про пункт Б, когда раздались крики. Он уткнул тогда голову в тетрадь, а крики продолжались. Он помнил, как он рванулся, пихая на ходу в холщовую сумку школьные принадлежности, и как на него, выскочившего с сумкой, сразу же закричали: «Почему он тут? Зачем он... Уведите его!» Мальчика стали уводить, потащили, прихватив за плечи так грубо, что холщовая сумка взметнулась. Башилов-мальчик ронял учебники, тетрадки, сыпались карандаши, он ползал, подымал, а его тащили за плечи. Уводя, они еще и зажимали ему лицо, закрывали глаза, хотя, инстинктивно внявший беде и испугавшийся, он и без того не смотрел в стороны, а только в землю, в землю, где собирал руками потерянное, собирал, совал в сумку. Их пронесли в десяти шагах. Отец обгорел очень сильно, мать меньше, но ему и мать не показали.

* * *

Вечером пришла отработавшая смена, и вечер был обыден, и они уже не были великанами в робах, а он не был

мальчиком, – взрослый человек, автор фортепианной сонаты, которую очень скоро будут почтительно называть Первой, Башилов стоял в сереньком простом пиджаке и смотрел, как они приближаются, как проходят мимо. Шли по трое, по двое, но только через полчаса, когда они помылись и сели за эти столы, он увидел их вблизи, – помывшиеся и в других рубашках, аварийщики расселись под кленами, где им уступили часть мест, а вокруг сразу захлопотали; была им и бутылка перед едой; они закурили, задымили. Башилов был среди них гость. «Это – Георгий. Это он *уже совсем выучился...* Музыкант уже», – говорили они друг другу про него одобрительно. А он отвечал с готовностью, и это было как повторение, потому что говорили они теми же словами, какими только что говорили с ним и про него старухи. «Ну, как жизнь в Москве, Георгий?» – спрашивали они. Они спрашивали про фильмы. И про метро. И про членов правительства. Тогдашних лет разговоры. А он улыбался. Он отвечал.

А те, что подросли в его отсутствие, сидели за скобленным столом неохотно, недолго: младое племя. Едва пожав руку и мельком на «музыканта» глянув, они уходили. Зато старые знакомцы, стариканы и дядьки, хотя и сильно поредевшие – кто сгорел, кто умер, – сидели за дощатыми столами в точности, как прежде, и, медлительные, говорили о пожаре, что случился не так давно. Сережка Король – вот ведь кто сгорел на последнем пожаре! Человек – не кошка, сгорел, и нету, а для него, для Георгия, он был, конечно, Сергей Викторович,

пожилой, крепкий еще мужик – разве не помнишь? – так говорили и спрашивали они.

Считалось, что Сергей Викторович Король, обгоревший, мог бы и выжить, однако вот в больнице, в городе, он сильно затосковал. Возможно, что после пожара у него что-то случилось с мозгами; в больнице он днем кричал, безобразничал, а ночью, затосковавший, решил сбежать: вылез из окна. Он был в бинтах, он был обгоревший и плохо видевший. Но вот с третьего или с четвертого этажа упал Сергей Викторович Король? Городская больница была в четыре этажа; нет, нет, больница в три этажа, возразил Чукреев, и тогда они немного поспорили, медлительные и раздумчивые: с четвертого, мол, этажа – это понятно, а можно ли человеку разбиться с третьего? Они редко бывали в городе: они не помнили, как выглядит больница. Оказывается, упав, Сергей Викторович Король умер не сразу – его сращивали, резали, сшивали, его паковали в гипс, разгипсовывали, опять резали, и лишь спустя месяц он еле-еле помер, задал работы, крепкий был!.. Они продолжали обсуждать, когда сиповатый Ахтынский приволок гармонику. Strongly постаревший и тощий, с красотой, выродившейся в длинный удивленный нос, Ахтынский приволок из дома – из чьего? – ту самую гармонику, тоже постаревшую, и держал ее на коленях. Ахтынский уже давно не пел. Он терпеливо ждал минуту, когда гость сыграет, не теребил, но, оказавшийся до поры среди женщин, приотстал от общего разговора о сгоревшем Короле. Женщины

спрашивали, дергали, и он негромко сипел им, что сейчас Георгий сыграет, *а мы ж с ним в поезде вместе ехали, а какая толпища народу в Москве, но мы с ним пробились, а какое пиво!*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.